

Дени Дидро

ПИСЬМО О СЛЕПЫХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ЗРЯЧИМ

Я догадывался, мадам, что слепорожденный, у которого г-н Реомюр недавно снял катаракту, не сообщит нам того, что вы хотели знать; но мне не приходило в голову, что в этом не будет ни его вины, ни вашей. Я обращался к его благодетелю лично и через его лучших друзей, я прибег к такому средству, как комплименты, но мы ничего не добились, и первая повязка будет снята без вас. Самые знатные особы имели честь получить отказ, как и философы. Одним словом, он пожелал снять покров лишь перед несколькими ничего не значащими глазами. Если вы захотите узнать, почему этот искусный академик производит в такой тайне опыты, для которых, по вашему мнению, никогда не может быть слишком много просвещенных свидетелей, то я вам отвечу, что наблюдения столь знаменитого человека нуждаются не столько в зрителях, когда они делаются, сколько в слушателях, когда они уже сделаны. Поэтому, мадам, я вернулся к своему первоначальному намерению, и, вынужденный обойтись без опыта, в котором я не видел ничего ценного ни для моего поучения, ни для вашего, но из которого г-н Реомюр несомненно извлечет гораздо более ценные выводы, я стал философствовать вместе со своими друзьями по поводу существенного вопроса, поставленного этим опытом. Как был бы я счастлив, если бы рассказ об одной из наших бесед мог заменить для вас зрелище, которое я слишком легкомысленно обещал вам!

В тот самый день, когда пруссак снимал катаракту с глаза у дочери Симоно, мы отправились на расспросы слепорожденного из Пюизо. Это неглупый человек, которого многие знают, он немного знаком с химией и прослушал с известным успехом курс ботаники в Королевском Саду. Его отец преподавал с большим успехом философию в Парижском университете. Обладая порядочным состоянием, он мог бы легко удовлетворить сохранившиеся у него чувственные потребности. Но в молодости он отдался наслаждениям; окружающие использовали во зло его склонности; дела его пришли в расстройство, и он удалился в маленький провинциальный городок, откуда он ежегодно наезжает в Париж. Он привозит сюда ликеры собственной дистиллировки, которыми здесь очень довольны. Все это, мадам, обстоятельства довольно далекие от философии, но именно в силу этого они должны внушить вам мысль, что лицо, о котором я вам говорю, не выдуманное.

Мы прибыли к нашему слепому около пяти часов вечера; он был занят тем, что обучал сына чтению с помощью выпуклых букв. Встал он не более часа тому назад — вы должны знать, что для него день начинается тогда, когда он кончается для нас. Он привык заниматься своими домашними делами и работать в то время, когда другие отдыхают. В полночь ничто его не стесняет и он никому не мешает. Первым делом он ставит на место все то, что за день было переставлено, и, когда его жена просыпается, она находит обыкновенно, что в доме все приведено в порядок. Благодаря тому что слепым трудно отыскивать затерявшиеся вещи, они становятся друзьями порядка, и я заметил, что их близкие обладают тем же качеством, под влиянием ли их хорошего примера или же под влиянием испытываемого к ним чувства сострадания. Как несчастны были бы слепые без мелких проявлений внимания со стороны окружающих! Как несчастны были бы в этом случае даже мы сами! Большие услуги — словно крупные золотые или серебряные монеты, которые редко приходится употреблять. Но мелкие проявления внимания — это разменная монета, которой пользуешься всегда.

Наш слепой отлично разбирается в том, что касается симметрии. Симметрия, которая является, может быть, условным соглашением между нами, наверное, во многих отношениях такова же у слепого со зрячим. Слепой, изучая при помощи осязания расположение частей того целого, которое мы называем красивым, приучается правильно применять этот термин. Однако когда он говорит: “Это красиво”, то он не высказывает своего суждения, а только передает суждение зрячих; но что иное делают три четверти тех, кто высказывает свое

мнение по поводу услышанной театральной пьесы или прочитанной книги? Для слепого красота, если она отделена от пользы, всего лишь слово; а так как у него одним органом чувств меньше, то польза скольких вещей от него ускользает! Разве не следует жалеть слепых за то, что они считают красивым лишь то, что хорошо? Сколько замечательных вещей для них потеряно!

Одно только может возместить им эту потерю, именно то, что если у них не так полно развиты идеи о красоте, то зато идеи эти более отчетливы, чем у зрячих философов, весьма подробно их разбиравших.

Наш слепой постоянно говорит о зеркале. Вы, конечно, думаете, что он не знает, что, собственно, значит слово зеркало; однако он никогда не поставит зеркало против света. Он рассуждает так же здраво, как и мы, о достоинствах и недостатках отсутствующего у него органа чувств. Если он не связывает никакого представления с употребляемыми им словами, то, по крайней мере, он выгодно отличается от большинства людей тем, что никогда не произносит их некстати. Он рассуждает так здраво и правильно о стольких абсолютно незнакомых ему вещах, что общение с ним сильно поколебало бы наше обычное бессознательное умозаключение от того, что происходит в нас, к тому, что происходит в других.

Я спросил у него, что он понимает под словом зеркало. “Это приспособление,— ответил он мне,— которое придает выпуклость вещам вдали от них самих, если они расположены по отношению к нему подходящим образом. Это — как моя рука: вовсе нет необходимости прикасаться рукой к какому-нибудь предмету, чтобы почувствовать его”. Если бы Декарт был слепым от рождения, то он должен был бы, мне думается, одобрить подобное определение. Действительно, обратите внимание на то, с какой тонкостью надо было комбинировать некоторые идеи, чтобы дойти до этого определения. Наш слепой знаком с предметами лишь благодаря осязанию. Со слов других людей он знает, что при помощи зрения можно знать предметы так, как он их знает при помощи осязания,— по крайней мере только такое представление о зрении он может себе составить. Он знает к тому же, что нельзя видеть своего собственного лица, хотя его можно осязать. Отсюда он должен заключить, что зрение — это особый вид осязания, распространяющийся только на предметы, отличные от нашего лица и удаленные от нас. Кроме того, осязание дает ему представление только о выпуклом. Следовательно, заключает он, зеркало — это приспособление, делающее нас выпуклыми вне нас самих. Сколько есть знаменитых философов, обнаруживших гораздо меньше тонкости в рассуждениях и пришедших к столь же ложным понятиям! Но сколь поразительно должно быть зеркало для нашего слепого! Как должно было бы возрасти его изумление, если бы мы сообщили ему, что существуют приборы, увеличивающие предметы; что существуют другие приборы, которые, не дублируя предметов, перемещают их, приближают, удаляют, делают их заметными, раскрывая перед глазами натуралистов мельчайшие части их; что есть такие приборы, которые увеличивают предметы тысячекратно; что есть, наконец, такие, которые как будто совершенно их искажают! Он задал нам десятки странных вопросов относительно этих явлений. Он спросил нас, например, только ли те, кого называют натуралистами, способны видеть при помощи микроскопа; только ли астрономы способны видеть при помощи телескопа; больше ли прибор, который увеличивает предметы, чем прибор, который уменьшает их; короче ли прибор, который приближает их, чем тот, который их удаляет? И, не понимая, почему другое “я”, которое, по его представлениям, повторяется в зеркале рельефно, ускользает от чувства осязания, он сказал: “Вот два чувства, которые небольшой прибор приводит в противоречие друг с другом; более совершенный прибор, возможно, установил бы согласие между ними, хотя предметы и не стали бы от этого более реальными; и если бы мы применили третий, еще более совершенный и внушающий большее доверие прибор, предметы вовсе исчезли бы, и мы увидели бы, что ошибались.

“А что такое, по вашему мнению, глаза?” — спросил его г-н де... “Это,— ответил ему слепой,— орган, на который воздух производит такое же действие, какое моя палка

оказывает на мою руку”. Этот ответ вернул нас с облаков на землю; в то время как мы глядели друг на друга с изумлением, он продолжал: “Это настолько верно, что если я помешу свою руку между вашими глазами и каким-нибудь предметом, то моя рука будет перед вами, а предмета не будет. Со мной происходит то же самое, когда я ищу своей палкой какую-нибудь вещь, а вместо нее встречаю другую”.

Мадам, откройте “Диоптрику” Декарта, и вы увидите, что в ней явления зрения соотнесены с явлениями осязания, вы там найдете таблицы по оптике, на которых изображены люди, пытающиеся видеть при помощи палок. Декарт и его преемники не сумели дать нам более ясного представления о зрении, и все преимущества этого великого философа перед нашим слепым сводились к обыкновенному преимуществу зрячих людей.

Никому из нас не пришло в голову расспросить его о живописи и письме. Но очевидно, что нет такого вопроса, на который он не сумел бы удовлетворительно ответить при помощи своего сравнения. Я нисколько не сомневаюсь в том, что он сказал бы нам, что пытаться читать или видеть, не имея глаз,— это все равно что искать булавку при помощи толстой палки.

Мы рассказали ему только о той перспективе, которая придает рельефность предметам и у которой одновременно столько сходного и несходного с нашими зеркалами; мы заметили, что это столько же нарушало, сколько и подтверждало его представление о зеркале и что он пытался представить дело так: зеркало рисует предметы, а живописец, чтобы изобразить их, рисует, может быть, зеркало.

Мы увидели, что он умеет вдвигать нитки в очень маленькие иголки. Нельзя ли, мадам, попросить вас прекратить здесь на время чтение и подумать, как бы вы поступили на его месте? На тот случай, если вы не найдете никакого подходящего способа, я сообщу вам, к какому приему прибегает для этого наш слепой. Он берет в рот иголку и располагает ушко между губами; затем при помощи языка он всасывает нитку, которая следует за его дыханием, если она только не слишком толста для игольного ушка; в этом случае и зрячий находится не в лучшем положении, нежели человек, лишенный зрения.

У него поразительно развита память на звуки; лица не представляют для нас большего разнообразия, чем для него голоса. Он находит в голосах бесконечное множество оттенков, ускользающих от нас, потому что наблюдение их не представляет для нас такого интереса, как для слепого. О значении этих голосовых оттенков для нас можно сказать то же, что и о нашем собственном лице. Из всех людей, которых мы когда-либо видели, хуже всего мы помним самих себя. Мы изучаем лица лишь для того, чтобы узнавать людей, и если у нас не остается в памяти наше лицо, то потому, что мы никогда не подвергаемся опасности принять себя за кого-нибудь другого или другого за себя. Кроме того, помощь, которую оказывают друг другу наши чувства, мешает им совершенствоваться. В дальнейшем я еще вернусь к этому.

Наш слепой сказал нам по этому поводу, что, не имея наших преимуществ, он считал бы себя весьма достойным сожаления и готов был бы признать нас высшими существами, если бы сотни раз не убеждался в том, насколько мы уступаем ему в других отношениях. Это размышление натолкнуло нас на другую мысль. Слепой этот, сказали мы, ставит себя не ниже, а может быть, и выше нас, зрячих;

почему же животное — если оно способно рассуждать, что несомненно, — взвешивая свои преимущества перед человеком, которые ему лучше известны, чем преимущества человека перед ним, не могло бы вынести подобное суждение? Человек обладает руками, скажет, может быть, муха, но я обладаю крыльями. Если у него есть оружие, скажет лев, то разве у нас нет когтей? Слон станет смотреть на нас как на насекомых, а все животные, охотно уступая нам разум, при наличии которого мы все же сильно нуждались бы в их инстинкте, стали бы хвалиться своим инстинктом, благодаря которому они отлично обходятся без нашего разума. У нас такая непреодолимая склонность превозносить свои достоинства и преуменьшать свои недостатки, что, казалось бы, человек должен писать трактаты о силе, а животное — о разуме.

Кто-то из нас догадался спросить нашего слепого, был ли бы он доволен, если бы имел глаза. “Если бы меня не одолевало любопытство,— ответил он,— я предпочел бы иметь длинные руки; мне кажется, что мои руки рассказали бы мне о том, что происходит на Луне, лучше, чем ваши глаза и ваши телескопы; кроме того, глаза скорее перестают видеть, чем руки осязать. Поэтому вместо того, чтобы снабдить меня недостающим органом, лучше было бы усовершенствовать у меня тот орган, который я имею”.

Наш слепой так правильно реагирует на шум или на голос, что, без сомнения, упражнение в этом может сделать слепых очень ловкими и очень опасными. Я расскажу вам по этому поводу один эпизод, который убедит вас в том, что если бы у нашего слепого была привычка пользоваться соответствующим оружием, то было бы весьма неблагоприятно подставлять себя под его пистолетный выстрел или ждать удара камнем. В молодости у него была стычка с одним из братьев, окончившаяся для последнего довольно плачевно. Раздосадованный на брата из-за каких-то его неприятных замечаний, он схватил первый попавшийся ему под руку предмет, бросил в него, попал ему прямо в лоб, и тот упал.

После этой истории и нескольких подобных он был вызван в полицию. Внешние признаки власти, оказывающие на нас такое воздействие, несколько не смущают слепых. Наш слепой явился к полицейскому чиновнику как к равному. Угрозы не испугали его. “Что вы можете со мной сделать?” — сказал он г-ну Эро. “Я брошу вас в тюремный карцер”, — ответил чиновник. “О, месье! — возразил ему слепой.— Вот уж двадцать пять лет, как я пребываю в нем”. Каков ответ, мадам, и какова тема для человека, любящего морализировать, как я! Мы покидаем жизнь, как волшебное зрелище, слепой покидает ее, как темницу; если мы имеем в жизни больше наслаждений, чем он, то, согласитесь, что он умирает с гораздо меньшими сожалениями.

Слепой из Пюизо судит о близости огня по степени теплоты; о наполненности сосудов — по звуку переливаемых им жидкостей; о соседстве тел — по действию воздуха на его лицо. Он так чувствителен к малейшим переменам в атмосфере, что может отличить улицу от тупика. Он удивительно точно определяет вес тел и емкость сосудов; из своих рук он сделал столь точные весы, а из своих пальцев — столь хорошие циркули, что в случаях, когда можно применить этого рода статику, я всегда готов держать пари за нашего слепого против двадцати зрячих. Гладкость тел представляет для него ничуть не меньше оттенков, чем звук голоса, и нечего опасаться, что он примет за свою жену чужую женщину,— разве только если он выигрывает при подмене. Весьма вероятно, что у народа, состоящего из слепых, женщины были бы в общем владении или же их законы против прелюбодеяния были бы очень суровыми. Женщинам у них было бы так легко обмануть своих мужей, условившись каким-нибудь знаком со своими любовниками!

Наш слепой судит о красоте при помощи осязания. Это понятно. Но не так легко понять, что в это суждение входят произношение и звук голоса. Дело анатомов объяснить нам, существует ли какая-нибудь связь между частями рта и нёба и внешней формой лица. Он делает мелкие токарные и швейные работы; он выравнивает поверхность с помощью наугольника; он собирает и разбирает несложные механизмы; он достаточно обучен музыке, чтобы сыграть какой-нибудь отрывок, если назвать ему соответствующие ноты и их длительность. Он определяет гораздо точнее, чем мы, продолжительность отрезка времени, основываясь на смене действий и мыслей. Он очень ценит у других людей красоту кожи, дородность, упругость тела, хорошее сложение, нежность дыхания, прелесть голоса и произношения.

Он женился, чтобы иметь глаза, которые бы ему принадлежали. До этого у него был план взять в товарищи одного глухого, чтобы в обмен на свои уши получить его глаза. Ничто меня не удивило так, как его необычайная способность делать множество разных вещей; а когда мы выразили ему свое удивление, он сказал: “Я замечаю, господа, что вы не слепые; вы удивляетесь тому, что я делаю; почему же вы не поражаетесь и тому, что я разговариваю?” В этом ответе, по моему мнению, заключается больше философии, чем он сам намеревался в него вложить. Поразительна легкость, с которой мы научаемся говорить. Нам удается

связывать известные идеи с множеством терминов, которые не могут быть представлены чувственными объектами и, так сказать, не имеют тела лишь благодаря ряду тонких и глубоких комбинаций из аналогий, замечаемых нами между этими чувственно не воспринимаемыми объектами и вызываемыми ими идеями; отсюда следует заключить, что слепорожденному труднее научиться говорить, чем зрячим людям, потому что число чувственно не воспринимаемых объектов для него гораздо больше, чем для нас, а сфера для сравнения и комбинирования у него меньше. Например, как могут запечатлеться в его памяти слова выражение лица? Это особого рода привлекательность, заключающаяся в столь мало доступных для слепого элементах, что они недостаточны даже для нас, зрячих, и нам очень трудно было бы точно сказать, что, собственно, означает иметь выражение лица. Если выражение лица определяется, главным образом, глазами, то осязание тут ничем не может помочь; и что значит для слепого мертвые глаза, живые глаза, умные глаза и так далее?

Отсюда я заключаю, что мы, несомненно, получаем большие преимущества от совместного действия наших чувств и наших органов. Но еще лучше было бы, если бы мы пользовались ими отдельно и никогда не прибегали к помощи двух, если достаточно одного. Прибавлять осязание к зрению, когда достаточно воспользоваться своими глазами, — это все равно что запрягать рядом с двумя и без того уже очень резвыми лошадьми третью упряжную лошадь, которая тянет в одну сторону, в то время как остальные тянут в другую.

Так как я никогда не сомневался в том, что состояние наших органов и наших чувств оказывает большое влияние на нашу метафизику и нравственность и что наши наичистейшие, если можно так выразиться, интеллектуальные идеи тесно связаны с устройством нашего тела, то я стал расспрашивать слепого о пороках и добродетелях. Я заметил сначала, что он питает сильнейшее отвращение к воровству; это отвращение обуславливалось у него двумя причинами: легкостью, с которой можно обокрасть его так, чтобы он этого не заметил, и, может быть, в еще большей степени легкостью, с какой можно заметить, что он сам крадет. Это не значит, что он не умеет по-настоящему предостерегаться от того органа чувств, который, как он знает, дает нам преимущество перед ним, и что он не знает, каким образом скрыть следы воровства. Он не придает большого значения стыдливости. Если бы не неблагоприятные атмосферные влияния, от которых его предохраняет одежда, ему была бы вовсе непонятна ее цель. И он открыто сознается, что не понимает, почему одну часть тела прикрывают скорее, чем другую, и еще менее понимает странное предпочтение, оказываемое некоторым из этих частей, которые нужно было бы держать открытыми ввиду способа их использования и ввиду недомоганий, которым они подвержены. Хотя мы живем в эпоху, когда философский дух освободил нас от множества предрассудков, я не думаю, чтобы мы когда-нибудь стали до такой степени игнорировать требования стыдливости, как мой слепой. Диоген не был бы для него философом.

Так как из всех внешних выражений чувств, вызывающих в нас сострадание и мысль о боли, на слепых действует только жалоба, то я предполагаю, что вообще они бессердечны. Какое различие существует для слепого между человеком, который мочится, и человеком, который без жалоб проливает свою кровь? И разве сами мы не перестаем испытывать сострадание, когда значительное расстояние или малый размер предметов производит на нас то же самое действие, что и отсутствие зрения у слепых? До такой степени наши добродетели зависят от нашего способа ощущать и от того, с какой силой действуют на нас внешние предметы! Я ничуть не сомневаюсь, что, не будь страха наказания, многие люди способны были бы так же легко убить человека на расстоянии, на котором он казался бы им величиной с ласточку, как собственноручно заколоть быка. И разве не тем же принципом мы руководствуемся, когда испытываем сострадание к мучающейся лошади и без всяких угрызений совести давим муравья? Ах, мадам, как отличается нравственность слепых от нашей нравственности! Как должна бы отличаться нравственность глухого от нравственности слепого и сколь несовершенной — чтобы не сказать худшего — показалась бы человеческая нравственность существу, обладающему лишним, по сравнению с нами, чувством!

Наша метафизика не менее расходится с их метафизикой. Сколько у них принципов, которые нам кажутся просто нелепостями, и наоборот! Я мог бы привести здесь некоторые подробности, которые, несомненно, позабавили бы вас, но иные люди, видящие во всем преступление, не преминули бы тогда обвинить меня в безбожии, как будто от меня зависит заставить слепых видеть вещи иначе, чем они их видят. Ограничусь одним наблюдением, с которым, я думаю, всякий должен согласиться, именно что знаменитое доказательство, основывающееся на чудесах природы, для слепых — доказательство весьма слабое. Наша способность творить, так сказать, новые предметы при помощи небольшого зеркала представляется им чем-то гораздо более загадочным, чем небесные светила, которых они обречены никогда не видеть. Этот пылающий шар, который движется с востока на запад, поражает их меньше, чем небольшое пламя, которое они свободно могут увеличивать или уменьшать. Так как они смотрят на материю гораздо более абстрактно, чем мы, то им легче допустить, что она мыслит.

Если бы какой-нибудь человек, обладавший зрением лишь в течение дня или двух дней, очутился среди народа, состоящего из слепых, он должен был бы молчать, чтобы не прослыть сумасшедшим. Он ежедневно возвещал бы им какое-нибудь новое чудо, которое было бы таковым только для них и в которое вольнодумцы отказывались бы верить. Не смогут ли защитники религии почерпнуть сильный довод в свою пользу из столь упорного, столь справедливого в известных отношениях и, однако же, столь мало обоснованного неверия? Если вы примете на минуту это допущение, то оно напомнит вам, в другом виде, историю преследования людей, имевших несчастье открыть истину в мрачную эпоху и неблагоприятно сообщавших ее своим слепым современникам, среди которых у них не было более ожесточенных врагов, чем те, кто по своему положению и воспитанию должны были как будто меньше всего расходиться с ними во взглядах.

Я оставляю теперь мораль и метафизику слепых и перехожу к вопросам менее важным, но более близким к цели наблюдений, производимых здесь повсюду со времени прибытия пруссака. Первый вопрос. Каким образом слепорожденный составляет себе идею о фигурах? Я думаю, что понятие о направлении ему дают движения его тела, последовательное пребывание его руки в разных местах, непрерывное ощущение тела, перебираемого его пальцами. Проводя пальцами по хорошо натянутой нити, он получает идею о прямой линии; следуя за изгибами слабо натянутой нити, он получает представление о кривой линии. Вообще благодаря повторяющимся опытам осязания он имеет воспоминание об ощущениях, испытанных им в разных точках; от него зависит комбинировать эти ощущения или точки и образовывать из них фигуры. Прямая линия для слепого, не являющегося геометром, не что иное, как воспоминание последовательности осязательных ощущений, помещенных в направлении натянутой нити; кривая линия — воспоминание последовательности осязательных ощущений, отнесенных к поверхности какого-нибудь выпуклого или вогнутого твердого тела. Изучая свойства этих линий, геометр вносит поправки в свое понятие о них. Но слепорожденный, будет ли он геометром или нет, относит все к концам своих пальцев. Мы комбинируем цветные точки, он же комбинирует только осязаемые точки, или, выражаясь более точно, лишь ощущения осязания, сохранившиеся у него в памяти. В его голове не происходит ничего подобного тому, что происходит в голове у нас: он ничего не воображает; ведь для того, чтобы воображать, надо окрасить некий фон и выделить на этом фоне точки, предполагая у них цвет, отличный от цвета фона. Если придать этим точкам тот же цвет, что и фону, они тотчас же сольются с ним, и фигура исчезнет; по крайней мере так все происходит в моем воображении, и я предполагаю, что другие в этом отношении не отличаются от меня. Поэтому, когда я хочу представить себе прямую линию не через ее свойства, а как-то иначе, я начинаю с того, что мысленно помещаю ее на белом полотне, на котором я выделяю последовательность черных точек, расположенных в ряд. Чем больше контраст между фоном и точками, тем отчетливее я замечаю точки; фигуру, обладающую цветом, очень близким к цвету фона, для меня так же утомительно рассматривать в воображении, как и вне меня, на полотне.

Итак, вы видите, мадам, что можно было бы указать законы, помогающие легко воображать сразу несколько различно окрашенных предметов. Но эти законы, без сомнения, не годились бы для слепорожденного. Так как слепорожденный не может окрашивать и, следовательно, не может составлять фигур в нашем смысле слова, то он обладает лишь памятью об осязательных ощущениях, которые он относит к различным точкам, местам или расстояниям и из которых он составляет фигуры. Тот факт, что нельзя составлять фигуры в воображении, не наделяя их цветом, настолько непреложно, что если бы нам дали в темноте прикоснуться к маленьким шарикам неизвестно какого цвета и из какого вещества, то мы немедленно вообразили бы их белыми, или черными, или какого-нибудь другого цвета; а если бы мы не представили себе никакого цвета, то, подобно слепорожденному, мы имели бы лишь воспоминание о незначительных ощущениях, вызванных на концах пальцев, и такого рода, какие могут вызвать только небольшие круглые тела. Если эта память у нас очень мимолетна, если мы не имеем никакого представления о том, каким образом слепорожденный запечатлевает, вспоминает и комбинирует осязательные ощущения, то это следствие нашей зрительной привычки составлять все в воображении при помощи цветов. Однако мне лично приходилось в волнении от сильной страсти испытывать дрожание во всей руке, чувствовать впечатление от тел, которых я касался уже давно, и испытывать это с такой же яркостью, как если бы я прикасался к ним в данный момент, причем я отчетливо замечал, что границы ощущения в точности совпадали с границами этих отсутствующих тел. Хотя ощущение само по себе неделимо, оно занимает, если можно так выразиться, определенное пространство, которое слепорожденный способен мысленно увеличивать или уменьшать, увеличивая или уменьшая участок тела, подвергающийся воздействию. Этим способом он составляет точки, поверхности, геометрические тела; он способен был бы даже получить тело величиной с земной шар, если бы предположил, что конец его пальца — величиной с земной шар и ощущение занимает его в длину, ширину и глубину.

Я не знаю ничего, что лучше доказывало бы реальность внутреннего чувства, чем эта — слабая у нас, но сильная у слепорожденных — способность чувствовать или вспоминать ощущения тел даже тогда, когда эти тела отсутствуют и больше не действуют на них. Мы не можем объяснить слепорожденному, как это воображение рисует нам отсутствующие предметы так, словно они присутствуют, но мы отлично можем убедиться в том, что обладаем свойственной слепорожденному способностью чувствовать на кончике пальца отсутствующее тело. Для этого прижмите указательный палец к большому, закройте глаза; теперь разожмите пальцы, сразу же рассмотрите, что происходит в вас, и скажите мне, не продолжается ли ощущение еще долго после того, как вы разжали пальцы, не кажется ли вам, что, когда пальцы сжаты, ваша душа находится скорее на концах пальцев, чем в голове, и не дает ли вам это сжимание понятие о поверхности благодаря пространству, которое занимает ощущение. Мы отличаем присутствие вещей вне нас от их воспроизведения в нашем воображении лишь по силе или слабости впечатления; аналогичным образом слепорожденный отличает ощущение от реального присутствия какого-либо предмета на конце своего пальца лишь по силе или слабости самого ощущения.

Если когда-нибудь какой-нибудь слепой и глухой от рождения философ создаст, в подражание Декарту, человека, то осмелюсь вас уверить, мадам, что он поместит душу его на концах пальцев, ибо оттуда исходят все его основные ощущения и все его познания. В самом деле, кто мог бы его уведомить, что голова есть седалище его мыслей? Если работа воображения утомляет нашу голову, то потому, что усилие, производимое нами при этом, весьма похоже на усилие, которое мы делаем, чтобы увидеть очень близкие или очень маленькие предметы. Но этого нельзя сказать о слепом и глухом от рождения человеке; формой для всех образуемых им понятий являются ощущения осязания, и я не был бы удивлен, если бы после глубокого размышления он почувствовал такую же усталость в пальцах, какую мы испытываем в голове. Я ничуть не опасаясь доводов, которые мог бы противопоставить ему философ, указав, что нервы являются причиной наших ощущений и что все они исходят из мозга: если бы даже оба этих положения были окончательно доказаны

— чего отнюдь нельзя сказать, в особенности о первом,— то ему, чтобы настаивать на своем мнении, достаточно было бы попросить рассказать ему все то, что думали об этом физики.

Но если воображение слепого есть не что иное, как способность вспоминать и комбинировать ощущения осязаемых точек, а воображение зрячего человека — способность вспоминать и комбинировать видимые и окрашенные точки, то отсюда следует, что слепорожденный воспринимает вещи гораздо более абстрактно, чем мы, и что в чисто умозрительных вопросах он, может быть, менее подвержен ошибкам, ведь абстракция состоит лишь в том, чтобы мысленно отделять чувственные качества тел или друг от друга, или от самого тела, которое является их основой. Заблуждение объясняется либо тем, что это отделение сделано плохо, либо тем, что оно сделано некстати: сделано плохо — в метафизических вопросах, сделано некстати — в вопросах физико-математических. Почти безошибочное средство впасть в заблуждение в метафизике — не упрощать в достаточной мере предметов, которыми занимаешься. Столь же верный способ получить неправильные результаты в физико-математических науках — полагать предметы менее сложными, чем они есть.

Существует такой вид абстракции, к которому способны столь немногие люди, что кажется, будто она является уделом чистого интеллекта; это тот вид абстракции, посредством которого все сводится к численным единицам. Надо признаться, что результаты такого рода геометрии были бы очень точными, а формулы ее — весьма общими, ведь ни в природе, ни в области возможного нет таких предметов — точек, линий, поверхностей геометрических тел, мыслей, понятий, ощущений,— которых эти простые единицы не могли бы представить, и... если бы ненароком именно в этом заключалась сущность учения Пифагора, то о нем можно было бы сказать, что он потерпел неудачу в своем замысле потому, что этот способ философствования слишком возвышен для нас, слишком приближается к способу мышления верховного существа, которое во вселенной, по остроумному выражению одного английского геометра, беспрестанно занимается геометрией (*geometrises*).

Простая единица для нас — слишком неопределенный и общий символ. Наши чувства требуют от нас знаков, более соответствующих объему нашего ума и строению наших органов. Мы даже устроили так, что эти знаки могут быть общими для нас и служат, так сказать, складом для обмена мыслями. Мы создали подобные знаки для глаз — это буквы, для ушей — это членораздельные звуки; но у нас нет никаких знаков для осязания, хотя существует особый способ обращаться к этому чувству и получить от него ответы. Из-за отсутствия такого рода языка нет никакого сообщения между нами и теми, кто рождается глухим, слепым и немым. Они растут, но остаются в состоянии умственной неразвитости. Может быть, они могли бы приобрести известные понятия, если бы начиная с детства можно было объясняться с ними определенным, точно установленным, неизменным и единообразным способом, если бы, одним словом, на руке у них чертили те же самые буквы, какие мы чертим на бумаге, причем значение их всегда оставалось бы одинаковым.

Не кажется ли вам, мадам, что этот язык так же удобен, как и всякий другой? Не существует ли он даже в готовом виде? Разве вы решились бы уверять нас, что с вами никогда не объяснялись этим способом? Поэтому остается только закрепить этот язык и составить его грамматику и словари, раз способ выражения при помощи нашего обыкновенного алфавита является слишком медленным для чувства осязания.

Есть три двери, через которые познания входят в нашу душу, и одна из них заперта из-за отсутствия знаков. Если бы мы пренебрегли двумя другими, то очутились бы в положении животных. Подобно тому как мы обладаем лишь пожатием, чтобы обращаться к чувству осязания, мы имели бы в этом случае только крик, чтобы говорить уху. Сударыня, надо быть лишенным какого-нибудь органа чувств, чтобы понять выгоды символов, предназначенных для оставшихся чувств, и люди, которые имели несчастье родиться глухими, слепыми и немymi или потеряли по какой-либо причине эти три чувства, были бы в восторге, если бы существовал ясный и точный язык для осязания.

Гораздо проще пользоваться уже изобретенными символами, чем изобретать их, как это приходится делать, когда тебя застали врасплох. Как хорошо было бы для Саундерсона, если бы в пятилетнем возрасте он застал уже готовой арифметику осязания, вместо того чтобы самому придумывать ее в двадцать пять лет! Этот Саундерсон, мадам, тоже слепой, о котором вам будет небезынтересно кое-что узнать. О нем рассказывают чудеса, и его успехи в изящной словесности и его искусство в математических науках делают все это правдоподобным.

Он пользовался одним и тем же приспособлением для алгебраических расчетов и для описания прямолинейных фигур. Вы, конечно, не будете иметь ничего против, если я объясню вам действие этого приспособления, только бы вы его поняли. И вы увидите, что оно не предполагает никаких неизвестных вам знаний и что оно может оказаться вам очень полезным, если вам когда-нибудь придет в голову производить длинные расчеты на ощупь.

Вообразите себе, что квадрат, как он нарисован на рисунках 1 и 2, разделен на четыре равные части линиями, перпендикулярными его сторонам, так что получается девять точек: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Предположите, что в девяти местах этого квадрата имеются отверстия, в которые можно воткнуть двух сортов булавки — одинаковой длины и толщины, но с головками, различающимися по толщине.

Булавки с большой головкой помещались всегда лишь в центре квадрата, а булавки с маленькой головкой — всегда лишь на его сторонах, за исключением случая с нулем. Нуль отмечался булавкой с большой головкой, помещенной в центре маленького квадрата, причем на сторонах его не было никаких других булавок. Цифра 1 изображалась булавкой с маленькой головкой, помещенной в центре квадрата, причем на сторонах его не было никакой другой булавки. Цифра 2 — булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 1. Цифра 3 — булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 2. Цифра 4 — булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 3. Цифра 5 — булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 4. Цифра 6 — булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 5. Цифра 7 — булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 6. Цифра 8 — булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 7. Цифра 9 — булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон квадрата в точке 8.

Вот десять различных выражений для осязания, каждое из которых соответствует одному из наших арифметических знаков. Теперь вообразите себе доску каких угодно размеров, разделенную на маленькие размещенные горизонтально квадраты, находящиеся на одинаковом расстоянии друг от друга, как это изображено на рис. 3, и вы получите приспособление Саундерсона.

Вы легко поймете, что нет такого числа, которое нельзя было бы написать на этой доске, и что, следовательно, нет такого арифметического действия, которое нельзя было бы на ней произвести.

Допустим, например, что надо найти сумму, или произвести сложение, следующих девяти чисел: 12345, 23456, 34567, 45678, 56789, 67890, 78901, 89012, 90123.

Я пишу эти числа на доске, по мере того как мне их называют; первую цифру слева первого числа — на первом квадрате слева первого ряда; вторую цифру слева первого числа — на втором квадрате слева того же ряда и так далее

Второе число я размещаю во втором ряду квадратов, единицы под единицами, десятки под десятками и так далее

Третье число я размещаю в третьем ряду квадратов и так далее, как изображено на рис. 3. Затем, пробегая пальцами каждый вертикальный ряд снизу вверх, начиная с самого правого, я складываю находящиеся здесь числа; избыток десятков я пишу внизу этого столбца; затем я перехожу ко второму столбцу, подвигаясь налево, и произвожу с ним ту же операцию; оттуда я перехожу к третьему столбцу и так далее, пока не закончу сложения.

А вот каким образом он пользовался той же самой доской, чтобы доказывать свойства прямолинейных фигур. Предположим, ему нужно было доказать, что параллелограммы с равными основаниями и равной высотой имеют одинаковую площадь. Для этого он размещал свои булавки, как это изображено на рис. 4. Он давал названия угловым точкам и заканчивал доказательство с помощью своих пальцев.

Если предположить, что Саундерсон употреблял для обозначения границ своих фигур только булавки с большими головками, то он мог располагать вокруг них булавки с маленькими головками девятью различными способами, которые все были ему привычны. Затруднения начинались для него лишь тогда, когда слишком большое число угловых точек, которым он должен был давать названия в ходе доказательства, вынуждало его прибегнуть к буквам алфавита. У нас нет данных, как он ими пользовался.

Мы знаем только, что он пробежал пальцами свою доску с изумительным проворством; что он с успехом осуществлял самые длинные расчеты; что он мог прерывать их и узнавать, когда он ошибся; что он с легкостью проверял их и что работа эта не требовала от него благодаря удобному устройству доски много времени.

Это устройство заключалось в том, что булавки с большой головкой помещались в центре всех квадратов. После этого ему оставалось лишь определить значение, соответствующее какому-либо квадрату, при помощи булавок с маленькой головкой, за исключением случаев, когда приходилось писать единицу. Тогда он помещал в центре квадрата булавку с маленькой головкой на место находившейся в нем булавки с большой головкой.

Иногда вместо того, чтобы составлять целую линию из своих булавок, он ограничивался тем, что помещал булавки во все угловые точки или точки пересечения, а вокруг них закреплял шелковые нити — это и были границы его фигур.

Он изобрел несколько других приспособлений, облегчавших ему занятия геометрией. По-настоящему неизвестно, как он их применял, и, может быть, для отыскания этого способа их применения понадобилось бы больше проницательности, чем при разрешении какой-нибудь проблемы интегрального исчисления. Пусть какой-нибудь геометр попытается объяснить нам, какое назначение имели у него четыре внушительных куска дерева в форме прямоугольных параллелепипедов каждый длиной одиннадцать дюймов, шириной пять с половиной, а толщиной немного более полдюйма; две противоположные большие поверхности у них были разделены на маленькие квадраты, подобные квадратам описанного мною счетного приспособления; разница состояла лишь в том, что они имели отверстия только в нескольких местах, в которых булавки были воткнуты до головки. Каждая поверхность представляла девять маленьких арифметических таблиц, из десяти чисел каждая, причем каждое из этих десяти чисел было составлено из десяти цифр. ... вот числа, которые она содержала: 94084, 24186, 41792, 54284, 63968, 71880, 78568, 84358, 89464, 94030.

Он является автором замечательного в своем роде произведения. Это “Основы алгебры”, где о его слепоте можно догадаться лишь по особенностям некоторых доказательств, на которые, может быть, не натолкнулся бы зрячий человек. Ему принадлежит деление куба на шесть равных пирамид, у которых вершины находятся в центре куба, основаниями являются его грани. При помощи этого деления можно очень просто доказать, что всякая пирамида составляет треть призмы с тем же основанием и той же высотой.

Любовь к математике побудила его заниматься ею, а не слишком большой недостаток и советы друзей побудили его преподавать математику публично. Они не сомневались, что он превзойдет их ожидания благодаря своему исключительному таланту преподавателя. Действительно, Саундерсон говорил со своими учениками так, как если бы они были

лишены зрения, но слепой, который выражается понятно для слепых, должен быть тем более понятным для зрячих: у них имеется как бы добавочный телескоп.

Его биографы рассказывают, что он был мастер на удачные выражения, и это весьма правдоподобно. Но, может быть, вы спросите меня, что я понимаю под удачными выражениями. Я вам отвечу, мадам, что это выражения, которые имеют прямой смысл для какого-нибудь чувства, например для осязания, и в то же время носят образный характер для другого чувства, например для зрения. Отсюда получается двойное значение для того, к кому обращаются: прямое и истинное значение выражения и отраженное значение метафоры. Очевидно, что Саундерсон в этих случаях, несмотря на весь свой ум, понимал себя только наполовину — ведь ему была доступна лишь половина идей, связанных с терминами, которые он употреблял. Но кто из нас время от времени не находится в таком же положении? Это случается как с идиотами, которые иногда отпускают замечательные шутки, так и с остроумнейшими людьми, у которых вырвется вдруг какая-нибудь глупость, причем ни те, ни другие этого не замечают.

Я наблюдал, что недостаток слов оказывал такое же действие на иностранцев, не вполне еще знакомых с новым для них языком. Они вынуждены говорить обо всем при помощи весьма незначительного количества терминов, благодаря чему они употребляют иногда некоторые из них очень удачно. Но так как вообще всякий язык беден подходящими словами для писателей с живым воображением, то они находятся в том же положении, что и обладающие большим остроумием иностранцы: придумываемые ими положения, замечаемые ими тонкие оттенки характеров, простота картин, которые они должны изобразить, заставляют их каждый раз удаляться от обычного способа выражения и изобретать обороты речи изумительные, если они не чрезмерно вычурны и не темны, — недостатки, которые мы им прощаем тем легче, чем мы сами остроумнее и чем меньше мы сами владеем языком. Вот почему из всех французских авторов г-н де М... больше всего нравится англичанам, а из всех латинских авторов мыслители ценят выше всего Тацита. От нас ускользают вольности языка, и остается только поражающая нас правда слов.

Саундерсон с удивительным успехом преподавал математику в Кембриджском университете. Он читал лекции по оптике; он произносил речи о природе света и цветов; он объяснял теорию зрения; он рассуждал о действии стекол, о явлениях радуги и о многих других предметах, касающихся зрения и его органов.

Эти факты не вызовут у вас особОго удивления, мадам, если вы обратите внимание на то, что во всяком вопросе, связанном и с физикой, и с геометрией, надо различать три вещи: требующее объяснения явление, гипотезы геометра и вытекающие из этих гипотез вычисления. Но ясно, что, какова бы ни была проницательность слепого, явления света и цветов ему неизвестны. Он сможет понять гипотезы, потому что все они могут быть соотнесены с осязательными причинами, но он никогда не уразумеет, почему геометр предпочел их другим допущениям, ибо для этого он должен был бы уметь сравнивать сами эти гипотезы с соответствующими явлениями. Таким образом слепой принимает гипотезы за то, за что ему их выдают: луч света — за гибкую, тонкую нить или за ряд маленьких телец, с невероятной быстротой достигающих наших глаз; в соответствии с этим он и производит вычисления. Так совершается переход от физики к геометрии, и вопрос становится чисто математическим.

Но что сказать о результатах вычисления? 1) Что их иногда крайне трудно добиться и что тщетно станет физик придумывать гипотезы, наиболее соответствующие природе, если он не в состоянии обработать их с помощью геометрии, — мы видим, что величайшие физики — Галилей, Декарт, Ньютон — были великими геометрами. 2) Что эти результаты более или менее надежны в зависимости от большей или меньшей сложности исходных гипотез. Когда вычисление основывается на простой гипотезе, выводы приобретают силу геометрических доказательств. Когда имеется множество предположений, то, с одной стороны, вероятность того, что каждая гипотеза истинна, уменьшается пропорционально их числу, но, с другой стороны, увеличивается, поскольку маловероятно, чтобы столь многочисленные

ложные гипотезы могли в точности исправлять друг друга и чтобы из них можно было получить результат, подтверждаемый явлениями. Это было бы похоже на случай сложения, конечный результат которого был бы правильным, хотя частичные суммы слагаемых были бы все неверными. Нельзя отрицать того, что подобный случай возможен; но вы согласитесь в то же время, что он должен быть крайне редким. Чем больше чисел придется складывать, тем больше вероятность ошибиться в сложении каждого; и эта вероятность гораздо меньше, если результат всего действия правилен. Следовательно, существует такое количество гипотез, что вытекающая из них достоверность должна быть минимальной. Если я говорю, что A плюс B плюс C равняется 50, то вправе ли я на основании того, что 50 верно выражает количественную сторону явления, заключить, что предположения, обозначенные буквами A , B , C , верны? Нисколько, ибо есть бесконечное множество способов уменьшить значение одной из этих букв и увеличить значение двух остальных так, чтобы в результате получилось 50; но случай сложения трех гипотез, может быть, один из самых неблагоприятных.

Я не должен упускать из виду одно преимущество вычислений, именно возможность исключить ложные гипотезы в случае противоречия между результатом и явлением. Если физик ставит себе задачей найти кривую, по которой следует луч света в атмосфере, то он должен определить плотность слоев воздуха, закон преломления лучей, природу и фигуру светящихся телец и, может быть, некоторые другие существенные элементы, которые он не вводит в свои расчеты потому ли, что сознательно пренебрегает ими, или потому, что они ему неизвестны. Затем он находит кривую луча. Если она оказывается в природе иной, чем это вытекает из его вычислений, то, значит, его предположения неполны или ложны. Если же луч движется по вычисленной кривой, то одно из двух: либо исходные предположения исправили друг друга, либо они точны. Но какое из этих двух допущений истинно, физик не знает; однако он может достигнуть только такой степени достоверности.

Я пробежал “Основы алгебры” Саундерсона, надеясь найти в них то, что я желал узнать от близких ему лиц, сообщивших нам некоторые подробности его жизни. Но мои ожидания были обмануты, и я пришел к выводу, что если бы он написал работу об основах геометрии, то это было бы и более оригинальное само по себе и гораздо более полезное для нас произведение. Мы нашли бы в нем такие определения точки, линии, поверхности, геометрического тела, угла, пересечения линий и плоскостей, в которых — я не сомневаюсь — он воспользовался бы принципами весьма отвлеченной метафизики, очень близкой к метафизике идеалистов. Идеалистами называют философов, которые, признавая только свое существование и существование ощущений, сменяющихся внутри них самих, не допускают ничего другого. Экстравагантная система, которую, на мой взгляд, могли создать только слепые! И эту систему, к стыду человеческого ума, к стыду философии, всего труднее опровергнуть, хотя она всех абсурднее. Она изложена с полной откровенностью и ясностью в трех диалогах доктора Беркли, епископа Клойнского. Следовало бы попросить автора “Опыта” о наших знаниях разобрать это произведение; он нашел бы в нем материал для полезных, приятных, тонких наблюдений — словом, таких, на которые он мастер. Идеализм заслуживает того, чтобы указать на него этому автору. Эта гипотеза должна его заинтересовать, и не столько своей странностью, сколько трудностью опровергнуть ее исходя из его принципов, ибо у него те же самые принципы, что и у Беркли. Согласно Беркли и Кондильяку — и согласно здравому смыслу, — термины сущность, материя, субстанция, подпора и так далее не представляются сами по себе ясными для нашего ума; кроме того, как рассудительно замечает автор “Опыта о происхождении человеческих знаний”, мы можем подняться на небеса, мы можем спуститься в бездну, но мы никогда не выходим за пределы самих себя и всегда имеем дело лишь со своей собственной мыслью. Именно таков конечный вывод первого диалога Беркли, и такова основа всей его системы. Не занятно ли было бы увидеть, как схватятся друг с другом два противника, оружие которых так сходно? Если бы победа досталась одному из них, то лишь тому, кто лучше воспользовался бы этим оружием; но автор “Опыта о происхождении человеческих знаний” дал недавно в “Трактате о системах” новое доказательство того, как искусно он владеет

своим оружием, и показал, насколько он опасен для творцов систем.

Вы скажете, что мы слишком удалились от наших слепых. Но я вас попрошу, мадам, простить мне все эти отступления от темы. Я обещал побеседовать с вами, без такого снисхождения с вашей стороны я не смогу вести беседу.

Я прочел со всем вниманием, на которое способен, то, что Саундерсон написал о бесконечности, и могу вас уверить, что он имел очень правильные и очень ясные понятия об этом предмете и что большинство наших бесконечников (*infinitaires*) были бы для него слепцами. Вы сами сможете судить об этом: хотя этот предмет довольно труден и несколько превосходит ваши математические познания, я не сомневаюсь, что, подготовившись, я сумел бы сделать его доступным и посвятить вас в логику бесконечно малых.

Этот знаменитый слепой доказывает своим примером, что осязание может стать более тонким чувством, чем зрение, если совершенствовать его путем упражнений: так, пробегая руками ряд медалей, он отличал подлинные от фальшивых, хотя последние были подделаны так искусно, что могли бы обмануть знатока с хорошим зрением; он судил о точности математического инструмента, проводя кончиками пальцев по его делениям. Это, несомненно, гораздо труднее, чем судить при помощи осязания о сходстве какого-нибудь бюста с изображаемым им человеком. Отсюда следует, что народ слепых мог бы иметь скульпторов и изготавливать статуи с той же целью, что и мы, именно чтобы увековечивать память о прекрасных поступках и о дорогих людях. Я не сомневаюсь даже, что ощущения, которые они испытывали бы от прикосновения к статуям, были бы гораздо ярче, чем те, которые мы получаем, глядя на них. Какая радость для нежного любовника проводить рукой по прелестям, которые он узнал бы, если бы иллюзия, более могучая у слепых, чем у зрячих, оживила их! Но возможно также, что, чем больше удовольствия доставляло бы ему это воспоминание, тем меньше он испытывал бы сожалений.

На Саундерсона, как и на слепого из Пьюизо, влияли малейшие перемены атмосфере; он замечал, особенно при спокойной погоде, присутствие предметов, которые находились в нескольких шагах от него. Рассказывают, что, когда он однажды присутствовал при астрономических наблюдениях, производившихся в саду, облака, время от времени закрывавшие наблюдателям диск солнца, вызывали достаточно заметное изменение в действии лучей на его лицо, так что он различал благоприятные и неблагоприятные для наблюдения моменты. Вы, может быть, подумаете, что в его глазах происходило какое-нибудь изменение, предупреждающее его о наличии света, но не о наличии предметов; я подумал бы то же самое, если бы не знал достоверно, что Саундерсон был лишен не только зрения, но и самого органа зрения.

Таким образом, Саундерсон видел при помощи кожи. Эта оболочка обладала у него исключительной чувствительностью, и можно утверждать, что при некотором навыке он сумел бы научиться узнавать того из своих друзей, портрет которого художник нарисовал бы у него на руке, и что на основании смены вызванных карандашом ощущений он смог бы сказать: “Это господин такой-то”. Значит, существует особый род живописи для слепых, именно тот, где полотном служила бы их собственная кожа. Это предположение несколько не фантастично, и я не сомневаюсь, что, если бы кто-нибудь начертил на вашей руке ротик М..., вы бы его немедленно узнали. Но согласитесь, что это было бы гораздо легче сделать слепорожденному, нежели вам, несмотря на то что вы привыкли видеть ее и находить очаровательной. Ведь в ваше суждение входят две или три вещи:

сравнение рисунка на вашей руке с рисунком, запечатлевшимся в глубине ваших глаз; память о том, как на вас действуют вещи, которые осязаешь, и как — вещи, которые только видишь и которыми восхищаешься; наконец, применение этих данных к вопросу, заданному вам художником, который, рисуя кончиком карандаша рот на коже вашей руки, спрашивает у вас: “Кому принадлежит рот, который я рисую?” Между тем сумма ощущений, вызванных ртом на руке слепого, та же самая, что и сумма последовательных ощущений, вызванных карандашом художника, рисующего этот рот.

К истории слепого из Пьюизо и Саундерсона я мог бы прибавить историю Дидима

Александрийского, Евсевия Азиатского, Никеза из Мехлина и нескольких других лиц, которые, будучи лишены одного чувства, все же настолько возвышались над остальными людьми, что поэты могли, не впадая в преувеличение, говорить, будто завистливые Боги лишили их зрения из страха иметь среди смертных равных себе. Ведь кем был знаменитый Тиресий, которому были открыты тайны Богов и который обладал даром предсказывать будущее, как не слепым философом, память о котором сохранила нам легенда? Но не будем удаляться от Саундерсона и последуем за этим замечательным человеком до его могилы.

Когда он умирал, к нему пригласили очень умного священника, г-на Джервеза Холмса. У них завязалась беседа о бытии божием. От нее сохранилось несколько отрывков, которые я постараюсь перевести как можно точнее,— они того стоят. Священник начал с того, что указал ему на чудеса природы.

— Ах, месье,— возразил ему слепой философ,— оставьте это прекрасное зрелище, которое было создано не для меня! Мне суждено было провести жизнь во мраке, а вы ссылаетесь на чудеса, которых я совершенно не понимаю и которые имеют доказательную силу только для вас и для тех, кто, подобно вам, видит. Если вы хотите, чтобы я верил в Бога, вы должны дать мне возможность осязать его.

— Месье,— ловко возразил священник,— возложите свои руки на самого себя, и вы найдете божество в изумительном строении своих органов.

— Господин Холмс,— ответил Саундерсон,— повторяю вам, для меня все это не так прекрасно, как для вас. Но допустим, что животный механизм столь совершенен, как вы утверждаете,— я готов поверить вам, ведь вы честный человек и совершенно не способны обманывать меня,— какое отношение это имеет к верховному разумному веществу? Если этот механизм поражает вас, то, может быть, потому, что вы привыкли считать чудом все, что кажется вам превышающим ваши силы. Я так часто был для вас предметом удивления, что составил себе плохое мнение насчет того, что вас изумляет. Чтобы посмотреть на меня, из самых глухих уголков Англии приезжали люди, которые не могли понять, как я занимаюсь геометрией; согласитесь, что у этих людей не было вполне точных понятий о том, что возможно. Если какое-нибудь явление превышает, по нашему мнению, силы человека, мы сразу же говорим: “Это дело божие”; наше тщеславие не может удовольствоваться меньшим. Не лучше ли было бы, если бы мы вкладывали в свои рассуждения поменьше гордости и побольше философии? Если мы встречаем в природе какой-нибудь трудно распутываемый узел, то оставим его таким, каков он есть, и не будем стараться разрубить его рукой существа, которое становится затем для нас новым узлом, еще труднее распутываемым, чем первый. Спросите у индейца, как это вселенная висит в воздухе, и он вам ответит, что она покоится на спине слона. А на чем находится слон? На черепахе. А кто поддерживает черепаху?.. Этот индеец внушает вам сострадание. Но вам можно было бы сказать, как и ему:

“Господин Холмс, друг мой, признайте сперва свое невежество и избавьте меня от слона и черепахи!”

Саундерсон на минуту остановился: он, очевидно, ожидал, что священник ему ответит; но с какой стороны лучше всего произвести нападение на слепого? Г-н Холмс воспользовался хорошим мнением Саундерсона о его честности и о познаниях Ньютона, Лейбница, Кларка и некоторых других его соотечественников, первых гениев в мире, которые все, будучи поражены чудесами природы, признали творцом ее некое разумное существо. Несомненно, это было самое сильное возражение, которое могло быть выдвинуто священником против Саундерсона. И наш покладистый слепой согласился, что было бы безрассудным отрицать то, что соглашался допустить такой человек, как Ньютон; однако он растолковал священнику, что свидетельство Ньютона для него не могло быть столь убедительным, как было убедительно для Ньютона свидетельство всей природы, и что Ньютон полагался на слово божие, между тем как он был вынужден полагаться на слово Ньютона.

“Заметьте, господин Холмс,— добавил он,— какое доверие я должен питать к вашим словам и словам Ньютона. Я ничего не вижу, однако я допускаю во всем изумительный

порядок. Но я надеюсь, что вы не потребуете от меня большего. Я готов уступить вам в вопросе о теперешнем состоянии вселенной, но взамен я требую, чтобы вы предоставили мне свободу думать, что мне угодно, по вопросу о ее изначальном состоянии, насчет которого вы такой же слепец, как и я. Здесь вы не можете противопоставить мне никаких свидетелей, и ваши глаза здесь нисколько вам не помогают. Поэтому воображайте себе, если хотите, что столь изумляющий вас порядок существовал всегда, но позвольте мне думать, что это не так и что если бы мы стали восходить к началу вещей и времени, если бы мы почувствовали, как движется материя и рассеивается хаос, то мы встретили бы лишь несколько хорошо организованных существ среди массы бесформенных. Если я не могу ничего возразить вам по поводу настоящего положения вещей, то я могу, по крайней мере, задать вам вопрос об их прошлом состоянии. Я могу, например, спросить у вас, спросить у Лейбница, Кларка, Ньютона, кто им сказал, что на первых этапах формирования животных не было существ без головы или без ног. Я могу утверждать, что некоторые животные не имели желудка, а другие не имели кишок, что животные, которым наличие желудка, нёба и зубов обещало как будто длительное существование, вымерли из-за какого-нибудь недостатка в сердце или легких, что постепенно вывелись чудовища, что исчезли все неудачные комбинации материи и сохранились лишь те, которые не заключали в себе серьезного противоречия и могли самостоятельно существовать и продолжать свой род.

Если мы это допустим, если мы предположим далее, что у первого человека была закрыта гортань, что он был лишен подходящей пищи, имел какой-либо недостаток в детородных органах, не нашел себе пару или же смешался с каким-нибудь другим видом животных, то что, господин Холмс, стало бы с человеческим родом? Он был бы вовлечен в процесс всеобщего очищения вселенной, и то гордое существо, которое называется человеком, рассеявшись, растворившись среди молекул материи, осталось бы, может быть навсегда, лишь в числе возможностей.

Если бы никогда не существовало бесформенных существ, то вы бы не преминули утверждать, что их никогда и не будет и что я занимаюсь фантастическими гипотезами, но порядок в мире не настолько еще совершенен, чтобы время от времени не появлялись уродливые создания”. Затем, повернувшись лицом к священнику, Саундерсон прибавил: “Посмотрите на меня хорошенько, господин Холмс, у меня нет глаз. Что сделали Богу вы и я, для того чтобы один из нас имел этот орган, а другой был лишен его?”

Когда Саундерсон произносил эти слова, у него было такое искреннее и проникновенное выражение лица, что священник и все прочие присутствовавшие не могли не разделить его скорбь и стали горько оплакивать его участь. Слепой заметил это. “Господин Холмс,— сказал он священнику,— ваше добросердечие мне хорошо известно, и я очень тронут тем доказательством его, которое вы мне даете в эти последние минуты, но, если я вам дорог, не лишайте меня при смерти утешительного сознания, что я никогда никого не огорчил”.

Затем, заговорив несколько более твердым голосом, он прибавил: “Итак, я предполагаю, что в начале времен, когда находившаяся в состоянии брожения материя породила вселенную, было немало таких существ, как я. Но разве я не вправе утверждать о целых мирах того же, что я говорю о животных? Сколько исчезло изувеченных, неудачных миров, сколько их преобразуется и, может быть, исчезает в каждый момент в отдаленных пространствах, недоступных моему осязанию и вашему зрению, где движение продолжает и будет продолжать комбинировать скопления материи, пока из них не получится какая-нибудь жизнеспособная комбинация? О философы! Перенеситесь вместе со мною на край нашей вселенной, за ее пределы; я осязаю, а вы видите организованные существа; охватите взором этот новый океан и постарайтесь отыскать в его беспорядочных волнениях какие-нибудь следы того разумного существа, чьей мудрости вы удивляетесь здесь.

Но зачем вам покидать свою родную стихию? Что такое наш мир, господин Холмс? Это сложное образование, подверженное бурным переменам, говорящим о постоянной тенденции к разрушению; это быстрая смена существ, следующих одно за другим, сталкивающихся друг с другом и исчезающих; это мимолетная симметрия, быстротечный

порядок. Я только что упрекал вас в том, что вы судите о совершенстве вещей на основании своих собственных способностей. Но точно так же я мог бы обвинять вас в том, что вы измеряете их длительность своим собственным веком. Вы судите о существовании мира во времени так, как муха-однодневка судит о продолжительности вашего собственного существования. Мир вечен для вас так, как вы вечны для существа, живущего только одно мгновение, и, может быть, насекомое еще разумнее, чем вы. О каком колоссальном ряде поколений-однодневок свидетельствует ваша вечность, о каком длительном процессе? Однако мы все пройдем, и никто не сможет указать ни реального пространства, которое мы занимали, ни точного промежутка времени, в течение которого мы существовали. Время, материя и пространство представляют, может быть, только одну точку”.

Во время этой беседы Саундерсон взволновался больше, чем это позволяло ему его состояние; затем он начал бредить; бред продолжался несколько часов, после чего он пришел в сознание, но лишь для того, чтобы воскликнуть:

“О, Бог Кларка и Ньютона, сжался надо мной!” — и вслед за тем умереть.

Такова была кончина Саундерсона. Вы видите, мадам, что все аргументы, которые он выдвигал против священника, не были убедительны даже для слепого. Какой же позор для людей, не имеющих лучших доводов, чем он, для людей зрячих, которым изумительное зрелище природы возвещает, начиная с восхода солнца до захода самой маленькой звездочки, существование и славу ее творца! Они обладают глазами, которых был лишен Саундерсон; но Саундерсон зато обладал тем, чего они были лишены,— чистотой нрава и простодушием. Поэтому они живут, как слепые, а Саундерсон умер так, словно был зрячим. Голос природы был слышен ему в достаточной степени благодаря оставшимся у него органам, и его пример должен иметь тем большую силу против людей, упрямо затыкающих себе уши и закрывающих глаза. Я готов спросить, не был ли истинный Бог еще больше скрыт от Сократа мраком язычества, чем от Саундерсона — отсутствием зрения, недоступностью зрелища природы.

Я весьма огорчен, мадам, что мы с вами лишены удовольствия узнать какие-нибудь любопытные подробности об этом знаменитом слепце. Из его ответов, может быть, можно было бы извлечь больше познаний, чем из разных опытов, которые ставятся. Должно быть, жившие с ним были слабыми философами! Я, впрочем, исключая из их числа его последователей, г-на Уильяма Инчлифа, видевшего Саундерсона лишь в последние минуты его жизни и передавшего нам его последние слова, которые я посоветую всем немного владеющим английским языком прочесть в подлиннике в сочинении, изданном в Дублине в 1747 г. и озаглавленном “The Life and character of Dr. Nickolas Saunderson, late lucasian Professor of the mathematics in the university of Cambridge; by his disciple and friend William Inchlif, Esq.”.

Они найдут в этом сочинении изящество, силу, правдивость, приятность, каких не встретишь ни в одном другом произведении; все это мне вряд ли удалось передать вам, несмотря на все мои усилия сохранить ее в переводе.

В 1713 г. он женился на дочери г-на Диконса, приходского священника в Боксворте, в Кембриджском округе. От этого брака у него были сын и дочь, которые сейчас еще живы. Его последнее прощание с семьей было очень трогательным. “Я отправляюсь,— сказал он им,— туда, куда отправимся мы все. Избавьте меня от расслабляющих меня жалоб. Ваше горе делает меня более чувствительным к собственным страданиям. Я без печали отказываюсь от жизни, которая была для меня лишь долгим желанием и постоянным лишением. Живите столь же добродетельно, но более счастливо и научитесь умирать столь же спокойно”. Затем он взял руку своей жены и на минуту сжал ее обеими руками, повернувшись лицом в ее сторону, точно хотел ее увидеть; он благословил своих детей, обнял их всех и попросил удалиться, потому что присутствие их причиняло ему большую боль, чем приближение смерти.

Англия — страна философов, людей любознательных, систематичных. Однако без г-на Инчлифа мы знали бы о Саундерсоне лишь то, что могли бы о нем сообщить самые

обыкновенные люди,— например, что он узнавал те места, где уже побывал однажды, по звуку стен и мостовой, если они издавали какой-либо звук, и сотню вещей, подобных тем, какие рассказывают почти обо всех слепых. Но разве так уж часто встречаются в Англии слепцы, обладающие теми же достоинствами, что и Саундерсон, и разве там каждый день встречают людей, которые никогда не были зрячими и при этом читают лекции по оптике?

Пытаются вернуть зрение слепорожденным. Но при ближайшем рассмотрении, я думаю, оказалось бы, что для философии большую ценность имеют расспросы здравомыслящего слепого. Он мог бы рассказать, как у него происходит процесс восприятия; это можно было бы сравнить с ходом этого процесса у нас, и путем такого сравнения, может быть, удалось бы добиться разрешения трудностей, делающих столь ненадежной и запутанной теорию зрения. Но, признаться, я не понимаю, чего рассчитывают добиться от человека, производя болезненную операцию очень деликатного органа, который приходит в расстройство от малейшей случайности и часто обманывает здоровых людей, издавна пользующихся его преимуществами. Что касается меня, то я с большей охотой выслушал бы по поводу теории восприятия какого-нибудь метафизика, которому были бы хорошо знакомы принципы метафизики, основы математики и строение частей тела, чем необразованного, невежественного человека, которому вернули бы зрение, снявши с его глаз катаракту. Я меньше полагался бы на ответы видящего в первый раз человека, чем на сообщение философа, который хорошо обдумал бы во мраке этот вопрос, или, выражаясь языком поэтов, выколол бы себе глаза, чтобы лучше узнать, как происходит зрительное восприятие.

Чтобы придать этим опытам некоторую достоверность, следовало бы по меньшей мере задолго подготовить испытуемого субъекта, следовало бы воспитать его и, может быть, сделать его философом. Но никто не может в один миг превратиться в философа, даже если у него есть задатки к этому. Что же сказать о человеке, у которого этих задатков нет, или — что еще хуже — о человеке, воображающем себя философом? Было бы очень полезно начинать наблюдения только спустя много времени после операции. Для этого надо было бы держать больного в темноте и увериться в том, что рана его зажила и глаза его здоровы. Я был бы против того, чтобы его сразу вывели на дневной свет: яркий свет мешает нам видеть; какое же действие должен он произвести на орган, не испытавший еще ни одного притупляющего впечатления и поэтому обладающий крайней чувствительностью!

Но это еще не все. Было бы и тогда весьма нелегко извлечь все, что нужно, из подготовленного таким образом субъекта и суметь так тонко поставить вопросы, чтобы он рассказал в точности, что происходит в нем. Этот опрос следовало бы производить в присутствии целой академии;

или, лучше, чтобы не иметь лишних зрителей, пригласить на это заседание лишь тех, кто заслуживает этого своими философскими, анатомическими и другими знаниями. Для этого потребовались бы самые опытные люди и лучшие умы. Подготовить и расспросить слепорожденного было бы занятием, вполне достойным соединенных талантов Ньютона, Декарта, Локка и Лейбница.

Я закончу это и без того уже слишком длинное письмо одним вопросом, который ставится с давних пор. Некоторые размышления об особенном положении Саундерсона убедили меня, что этот вопрос никогда не был полностью разрешен. Предположим, что перед нами уже взрослый слепорожденный, которого научили различать при помощи осязания куб и шар, сделанные из одного и того же металла и примерно одинаковой величины, так что, когда он касается обоих этих предметов, он может сказать, какой из них куб и какой — шар. Предположим, что эти куб и шар находятся на столе и что наш слепой вдруг получил возможность видеть. И вот спрашивается: сможет ли он на основании одного лишь зрения, не прикасаясь к этим предметам, отличить их друг от друга и сказать, какой из них куб, а какой — шар?

Г-н Молине, первым предложивший этот вопрос, пытался дать ответ на него. Он утверждал, что слепой никак не сумеет отличить шар от куба, поскольку, говорил он, “хотя он из опыта узнал, каким образом воздействуют на его осязание шар и куб, однако он не

знает, что то, что воздействует таким-то определенным образом на его осязание, должно действовать на его глаза таким-то определенным образом; и точно так же он не знает, что выдающийся угол куба, оказывающий неравномерное давление на его руку, должен представляться его глазам таким, каким он представляется”.

Локк, которому задали этот вопрос, сказал: “Я вполне согласен с г-ном Молине. Я думаю, что слепой не сумел бы с первого взгляда сказать более или менее уверенно, какой из предметов куб, а какой — шар, если бы он ограничился только показаниями зрения, хотя, прикасаясь к ним, без сомнения, он сумел бы различить и назвать их на основании различия фигур, которое открыло бы ему чувство осязания”.

Г-н аббат Кондильяк, чей “Опыт о происхождении человеческих знаний” вы прочли с таким удовольствием и пользой и чей превосходный “Трактат о системах” я посылаю вам вместе с этим письмом, придерживается на этот счет особого мнения. Бесполезно было бы приводить вам его доводы; это значило бы лишить вас удовольствия перечесть произведение, в котором они изложены в столь приятной и столь философской манере, что я рисковал бы нарушить их порядок. Поэтому замечу лишь, что всеми этими доводами он стремится доказать, что слепорожденный либо ничего не увидит, либо же увидит шар и куб различными, и что условие, по которому оба этих тела должны быть из одного металла и примерно одинаковой величины, которое почему-то включили в данную задачу, совершенно излишне; и это верно, ведь он мог бы сказать: если нет никакой существенной связи между ощущением зрения и ощущением осязания, как это утверждают гг. Локк и Молине, то следует признать, что можно тело, которое легко прикрыть ладонью, видеть диаметром в два фута. Однако г-н де Кондильяк прибавляет, что если слепорожденный видит тела, различает их фигуры, но медлит вынести суждение о них, то лишь в силу довольно тонких метафизических соображений, которые я вам сейчас разьясню.

Итак, вот два различных мнения по одному и тому же вопросу, высказываемые первоклассными философами. Казалось бы, после того, как этот вопрос разбирали такие люди, как гг. Молине, Локк и аббат де Кондильяк, в нем не должно быть ничего неясного, однако одну и ту же вещь можно рассматривать со столь различных точек зрения, что неудивительно, если они не исчерпали их все.

Утверждавшие, что слепорожденный способен отличить куб от шара, исходили из некоторой предпосылки, которую, может быть, следовало бы сперва рассмотреть, а именно следовало бы выяснить, способен ли слепорожденный, у которого сняли катаракту, воспользоваться своими глазами в первые моменты после операции. Сторонники этого взгляда сказали только следующее: “Слепорожденный, сравнивая свои идеи шара и куба, полученные через осязание, с теми идеями о них, которые ему доставляет зрение, непременно должен понять, что они одинаковы; и было бы странно с его стороны утверждать, будто, глядя на куб, он получает идею шара, а глядя на шар — идею куба. Поэтому при пользовании зрением он назовет шаром и кубом то, что он называл шаром и кубом при пользовании осязанием”.

Какие же доводы привели в ответ их противники? Они также предполагали, что слепорожденный станет видеть немедленно после исцеления органа. Они вообразили, что с глазом, с которого сняли катаракту, происходит то же, что с рукой, которая после паралича снова стала двигаться: рука не нуждается в упражнении, чтобы чувствовать, сказали они, значит, и глаз не нуждается в упражнении, чтобы видеть. Но к этому они прибавили: “Допустим, что слепорожденный более способен к философии, чем вы полагаете; продолжая ваше рассуждение, он может сказать: откуда я знаю, что, если я подойду к этим телам ближе и положу на них руки, они внезапно не обманут моего ожидания и куб не даст мне ощущения шара, а шар — ощущения куба? Только опыт может показать мне, имеется ли соответствие между зрением и осязанием, ведь эти два чувства могут вопреки моим ожиданиям противоречить друг другу; может быть, я решил бы даже, что то, что представляется в данный момент моему зрению, лишь простая видимость, если бы мне не сообщили, что это те самые тела, к которым я раньше прикасался. Вот это тело, кажется мне,

должно быть тем, что я называю кубом, а то, другое, — тем, что я называю шаром; но ведь меня спрашивают не о том, что мне кажется, а о том, что есть на самом деле; а на этот последний вопрос я не в состоянии ответить”.

Это рассуждение, говорит автор “Опыта о происхождении человеческих знаний”, способно привести в замешательство слепорожденного, и только опыт, по моему мнению, может дать ответ на него. Несомненно, г-н аббат де Кондильяк имеет в виду здесь только опыт, повторяемый самим слепорожденным, то есть вторичное прикосновение к телам. Вы сейчас поймете смысл моего замечания. Впрочем, этот талантливый метафизик мог бы прибавить, что для слепорожденных нет ничего нелепого в допущении противоречия между двумя чувствами, тем более что они думают, как я уже заметил выше, будто зеркало действительно ставит их в такое противоречие.

Г-н де Кондильяк замечает далее, что г-н Молине усложнил вопрос различными условиями, которые не могут ни предотвратить, ни устранить затруднений, возникающих у философствующего слепорожденного. Это замечание тем более верно, что предполагаемая у слепорожденного способность к метафизике вполне уместна, ибо опыты, касающиеся философии, следовало бы всегда производить над философом, то есть над человеком, способным находить в задаваемых ему вопросах все то, что позволяет в них заметить логику и состояние его органов.

Вот, мадам, вкратце все доводы “за” и “против”, высказанные в связи с этим вопросом. Я разберу эти доводы, и вы увидите, что лица, по мнению которых слепорожденный способен видеть фигуры и различать тела, были далеки от понимания своей правоты, а те, кто отрицал это, имели основание думать, что они не ошиблись.

В вопросе о слепорожденном — если рассматривать его более широко, чем это делал г-н Молине, — заключаются два других вопроса, которые мы разберем по отдельности. Можно спросить: 1) будет ли слепорожденный видеть немедленно после того, как произведена операция снятия катаракты; 2) в случае утвердительного ответа, будет ли он видеть достаточно хорошо, чтобы различать фигуры, сумеет ли он при виде их называть их с уверенностью теми же именами, которыми он называл их при прикосновении, и сможет ли он доказать, что эти имена подходят к ним.

Будет ли слепорожденный видеть немедленно после исцеления органа? Утверждающие, что он не будет видеть, рассуждают следующим образом: “Как только слепорожденный приобретет способность пользоваться своими глазами, все находящееся перед ним в перспективе зрелище отразится в глубине его глаз. Картина эта, составленная из бесконечного множества предметов, собранных на весьма небольшом пространстве, представляет смутное скопление фигур, которые он не сумеет отличить друг от друга. Почти все признают, что лишь опыт может научить его судить об удаленности предметов и что ему даже необходимо приблизиться к ним, прикоснуться к ним, удалиться от них, затем снова приблизиться и снова прикоснуться к ним, чтобы убедиться, что они не составляют часть его самого, что они находятся вне его существа и что он то близок к ним, то далек от них. Почему же мы должны думать, что ему не нужен опыт, чтобы заметить их? Не будь опыта, человек, видящий предметы в первый раз, вообразил бы — если они удаляются от него или он удаляется от них, так что они выходят из его поля зрения, — что они перестали существовать; ибо только наш опыт наблюдения над предметами, которые мы находим на том же самом месте, где оставили их, убеждает нас в том, что они продолжают существовать и тогда, когда мы от них удаляемся. Может быть, благодаря этому так быстро утешаются дети, когда у них отнимают игрушки. Нельзя сказать, что они быстро забывают их; ведь если принять во внимание, что есть дети двух с половиной лет от роду, которые знают немалую часть слов какого-либо языка, и что им труднее произнести эти слова, чем запомнить их, то легко согласиться с тем, что время детства — это время сильно развитой памяти. Не естественнее ли поэтому предположить, что дети воображают, будто то, что они перестают видеть, перестало существовать, тем более что радость их, кажется, смешана с восхищением, когда вновь появляются предметы, которые они потеряли из виду? Кормилицы помогают им

приобрести понятие об отсутствующих существах, играя с ними в простую игру, состоящую в том, чтобы закрывать свое лицо и внезапно открывать его. Благодаря этому дети сотню раз в течение какой-нибудь четверти часа убеждаются, что то, что перестает быть видимым, не перестает существовать. Отсюда следует, что мы обязаны опыту понятием о непрерывном существовании предметов; что путем прикосновения мы приобретаем понятие об их удаленности; что, может быть, глазу необходимо научиться видеть, так же как языку — говорить; что не было бы ничего удивительного, если бы одно чувство нуждалось в помощи другого, и что, может быть, осязание, убеждающее нас в существовании предметов вне нас, когда они имеются перед нашими глазами, является также тем чувством, которое должно устанавливать не только их фигуры и другие свойства, но даже само наличие их”.

К этим рассуждениям присоединяют знаменитые опыты Числьдена. См. “Основы философия Ньютона” г-на де Вольтера. Молодой человек, у которого этот искусный хирург снял катаракту, долгое время не различал ни размеров, ни расстояний, ни положения, ни даже фигур. Когда перед его глазами ставили предмет величиной в дюйм, закрывавший от него какой-нибудь дом, то он казался ему величиной с этот дом. Все предметы для него находились на его глазах, и ему казалось, что они соприкасаются с этим органом точно так же, как воспринимаемые осязанием предметы соприкасаются с кожей. Он не мог отличить того, что, основываясь на осязании, считал круглым, от того, что считал угловатым, и не мог определить глазами, было ли в действительности вверху или внизу то, что воспринималось осязанием вверху или внизу. Он не без труда усвоил, что его дом больше, чем его комната, но совершенно не мог постичь то, каким образом глаз мог дать ему представление об этом. Потребовалось множество повторяющихся опытов, чтобы он убедился, что живопись изображает объемные тела, и, когда, разглядывая картины, он удостоверился, что видит перед собой не только поверхности, и положил на них руку, то был очень удивлен, встретив перед собой гладкую плоскость без каких-либо выдающихся частей. Он спросил, что же обманывало его — чувство осязания или чувство зрения? Впрочем, живопись произвела то же самое впечатление на дикарей. Когда они впервые увидели картины, то приняли нарисованные фигуры за живых людей, стали расспрашивать их и были очень удивлены, не получив от них никакого ответа. Конечно, ошибка эта происходила не оттого, что у них не было привычки видеть.

Но что сказать относительно других трудностей? Действительно, опытный глаз взрослого человека дает ему возможность лучше видеть предметы, чем неопытный и совсем неискушенный глаз ребенка или слепорожденного, у которого сняли катаракту. Прочтите, мадам, все доводы г-на аббата де Кондильяка в конце его “Опыта о происхождении человеческих знаний”, где он разбирает опыты Числьдена, изложенные г-ном де Вольтером. Здесь изложены с большой ясностью и убедительностью действие света на глаз, впервые его воспринимающий, и условия, зависящие от жидкостей этого органа, от роговой оболочки, хрусталика и так далее; все это не оставляет сомнения в том, что зрение бывает очень несовершенным у ребенка, впервые открывающего глаза, или у слепого, которому только что произвели операцию.

Таким образом, надо признать, что мы замечаем в предметах бесконечное множество вещей, которых не видят в них ни ребенок, ни слепорожденный, хотя они также отображаются в глубине их глаз; что недостаточно, чтобы предметы поражали нас — необходимо еще, чтобы впечатления от них были объектом нашего внимания; что, следовательно, ничего не видишь, когда впервые пользуешься своими глазами; что в первые моменты зрение дает только множество смутных ощущений, которые проясняются лишь с течением времени благодаря привычке размышлять над тем, что происходит в нас; что только опыт научает нас сравнивать ощущения с тем, что их вызывает; что поскольку ощущения не имеют ничего существенно сходного с предметами, то лишь опыт может научить нас аналогиям, которые, очевидно, носят чисто условный характер. Одним словом, нельзя сомневаться в том, что осязание во многом помогает зрению получить точное знание о соответствии между предметом и получаемым от него представлением. Я думаю, что если

бы все в природе не подчинялось бесконечно общим законам, что если бы, например, укол от одних твердых тел был болезненным, а укол от других тел сопровождался удовольствием, то мы умирали бы, не собрав и стомиллионной доли опыта, необходимого для сохранения нашего тела и для нашего благополучия.

Однако я вовсе не думаю, будто глаз не способен научиться или, если можно так выразиться, набраться опыта у самого себя. Чтобы убедиться посредством осязания в существовании предметов и распознать их фигуры, нет нужды видеть; как же можно утверждать, что необходимо прикасаться к предметам, чтобы убедиться в том же самом при помощи зрения? Я знаю все преимущества осязания, и я не скрывал их, когда речь шла о Саундерсоне или о слепом из Пюизо; но указанного сейчас преимущества я за осязанием не признавал. Можно легко согласиться с тем, что пользование каким-нибудь чувством может быть усовершенствовано и ускорено благодаря наблюдениям другого чувства, но это вовсе не значит, что между их функциями есть какая-то существенная зависимость. Разумеется, в телах есть такие свойства, которых мы никогда не заметили бы без прикосновения к ним: именно осязание указывает нам на наличие некоторых особенностей, недоступных зрению, — глаза замечают их лишь тогда, когда осязание предупреждает об этом. Но эти услуги взаимны, и у тех, у кого зрение более тонко, чем осязание, именно первое из этих чувств указывает другому на существование таких предметов и особенностей, которые сами по себе ускользнули бы от него из-за своей малости. Если бы вам незаметно вложили между большим и указательным пальцами бумагу или какой-нибудь другой гладкий, тонкий и гибкий материал, то только глаз мог бы сообщить вам, что пальцы непосредственно не соприкасаются. Замечу мимоходом, что в этом случае гораздо труднее было бы обмануть слепого, чем зрячего.

Существой отдельно живой и одушевленный глаз, он, без сомнения, с трудом убедился бы в том, что внешние предметы не составляют части его самого; что он то близок к ним, то удален от них; что они обладают фигурой; что одни из них больше, чем другие; что они имеют глубину и так далее. Но я нисколько не сомневаюсь, что в конце концов он увидел бы их, и увидел бы достаточно раздельно, чтобы различать, по крайней мере грубо, их границы. Отрицать это значило бы упускать из виду назначение органов, оставлять без внимания самые существенные явления зрения. Это значило бы не видеть того, что нет столь искусного художника, который мог бы воспроизвести красоту и точность миниатюр, отражающихся в глубине наших глаз; что нет ничего более точного, чем сходство этого изображения с изображаемым предметом; что полотно этой картины не так уж мало; что нет никакого смещения фигур; что они занимают примерно половину квадратного дюйма и что нет ничего труднее объяснения, как могло бы осязание научить глаз видеть, если бы сам глаз был абсолютно не способен обойтись без помощи осязания.

Но я не ограничусь простыми предположениями и спрошу: осязание ли научает глаз различать цвета? Не думаю, чтобы кто-нибудь приписал осязанию такое необычайное преимущество, ведь отсюда следовало бы, что достаточно показать слепому, которому только что восстановили зрение, черный куб и красный шар на обширном белом фоне, и он не замедлит различить границы этих фигур.

Мне могут ответить, что он будет медлить, и именно столько времени, сколько потребуется жидкостям глаза, чтобы расположиться соответствующим образом; роговой оболочке — чтобы приобрести необходимую для зрения выпуклость; зрачку — чтобы стать способным расширяться или сужаться надлежащим образом; волокнам сетчатки — чтобы не быть ни слишком чувствительными, ни слишком мало чувствительными к действию света; хрусталику — чтобы произвести те движения вперед и назад, которые ему приписываются; мускулам — чтобы исправно выполнять свои функции; зрительным нервам — чтобы привыкнуть передавать ощущение; всему главному яблоку — чтобы приспособиться к различным необходимым положениям; всем составляющим его частям — чтобы содействовать созданию той миниатюры, которая является хорошим аргументом в пользу того, что глаз учится у самого себя.

Я признаю, что, как бы проста ни была картина, которую я покажу слепорожденному, он сумеет различить ее части лишь тогда, когда орган зрения будет располагать всеми вышеуказанными условиями; но, может быть, это дело всего лишь одной минуты. Ведь нетрудно было бы, применяя изложенное выше рассуждение к какой-нибудь более или менее сложной машине, например к часам, доказать исходя из анализа всех движений, происходящих в коробке, облекающей пружину, в шпинделе, колесиках, пластинках, маятнике и так далее,— нетрудно было бы доказать, что стрелке потребуется пятнадцать дней, чтобы пройти расстояние в одну секунду. Если мне возразят, что эти движения происходят одновременно, я отвечу, что, может быть, одновременны и движения в глазу, когда он открывается в первый раз, и что это относится также к большинству образуемых нами благодаря этому суждений. Но что бы ни думали относительно условий, требуемых от глаза, чтобы он был способен видеть, необходимо признать, что этот орган получает их не от осязания, а от самого себя и что, следовательно, он научается различать фигуры, отражающиеся в нем, без помощи другого чувства.

Но, скажут, когда же он научится этому? Может быть, гораздо скорее, чем думают. Помните ли вы, мадам, наш опыт с вогнутым зеркалом, когда мы с вами посетили кабинет в Королевском Саду? Помните ли вы свой испуг, когда вы увидели, что к вам приближается острое шпаги с той же быстротой, с какой приближалось к поверхности зеркала острое шпаги, которую вы держали в руке? Однако вы уже обладали привычкой относить к пространству вне зеркал все те предметы, которые в них отражаются. Таким образом, чтобы замечать предметы или их образы там, где они находятся, опыт не так необходим; он даже не так непогрешим, как полагают. Даже ваш попугай послужил мне доказательством этого. Впервые увидев себя в зеркале, он принял свое изображение за другого попугая; он приблизил к зеркалу клюв и, не столкнувшись с этим другим попугаем, обошел зеркало сзади. Я вовсе не собираюсь приписывать свидетельству попугая больше силы, чем оно имеет. Но все же в этом опыте с животным не может быть и речи о каком-либо предубеждении.

Однако если бы мне сказали, что какой-нибудь слепорожденный не различал ничего в течение двух месяцев, то я несколько не удивился бы этому. Я только сделал бы вывод, что необходимо упражнять орган, но что для упражнения его вовсе не нужно прикасаться к вещам. Я лишь убедился бы, насколько важно, чтобы слепорожденный некоторое время оставался в темноте, если над ним хотят производить наблюдения; насколько важно дать его глазам свободу упражняться — а это ему удобнее делать во мраке, чем при дневном свете,— и предоставить ему при этих опытах своего рода сумерки или же дать возможность увеличивать либо уменьшать по его усмотрению — по крайней мере в том месте, где будут производиться опыты,— силу света. Я лишь настойчивее буду утверждать, что такого рода опыты всегда вызывают большие трудности и оказываются весьма ненадежными и что самый короткий в действительности, хотя по видимости самый долгий, путь — заранее обеспечить испытуемого субъекта философскими знаниями, благодаря чему он сможет сравнить два состояния, через которые он прошел, и рассказать нам о различии между состоянием слепого и зрячего человека. Повторю еще раз: чего можно ожидать от человека, который не привык размышлять и анализировать свои собственные переживания и, подобно слепому Числьдена, не зная преимуществ зрения, вовсе не чувствует своей тяжелой доли и не представляет себе, что отсутствие этого чувства лишает его многих наслаждений? У Саундерсона, которому не откажешь в звании философа, не было, разумеется, такого равнодушия к своей слепоте, и я весьма сомневаюсь, чтобы он разделил мнение автора превосходного “Трактата о системах”. Я готов заподозрить, что этот автор сам стал жертвой собственной небольшой системы, когда начал уверять, что “если бы жизнь человека была только непрерывным ощущением удовольствия или страдания, то, будучи в первом случае счастливым, без всякой идеи о несчастье, а во втором случае несчастным, без всякой идеи о счастье, он просто наслаждался бы или страдал”; что, “как если бы такова была его природа, он не стал бы смотреть вокруг себя, чтобы убедиться, не заботится ли какое-нибудь

существо о его сохранении, или не старается ли оно повредить ему”, и что “попеременный переход от одного из этих состояний к другому научил его размышлять и так далее...”

Думаете ли вы, мадам, что, переходя от одного ясного восприятия к другому (ведь таков метод философствования нашего автора—метод хороший), он пришел бы когда-нибудь к этому выводу? Счастье и несчастье не соотносятся как мрак и свет; одно не является просто отсутствием другого. Может быть, мы убедились бы, что счастье для нас столь же необходимо, как существование и мысль, если бы мы наслаждались им без всякой помехи. Но я не могу сказать того же относительно несчастья.

Было бы весьма естественно считать его вынужденным состоянием, чувствовать себя невинным, но тем не менее признавать себя виновным и обвинять или извинять природу, то есть поступать так, как обычно поступают.

Неужели г-н аббат де Кондильяк думает, будто ребенок жалуется, когда страдает, лишь потому, что он не страдал непрерывно с того дня, как появился на свет? Если он ответит мне, что “существование и страдание — это одно и то же для непрерывно страдающего человека и он не способен был бы представить себе, что можно прекратить его страдания, не разрушая его существования”, я приведу следующее возражение: “Возможно, человек, постоянно испытывающий страдание, и не скажет: “Что я сделал такого, чтобы страдать?””. Но кто помешает ему сказать:

“Что я сделал такого, чтобы существовать?” Однако я не вижу, почему бы он не мог пользоваться обоими синонимичными глаголами — я существую и я страдаю, одним для прозы, другим для поэзии, подобно тому как мы пользуемся двумя выражениями: я живу и я дышу”. Впрочем, вы убедитесь сами, мадам, и даже лучше, чем я, что этот отрывок г-на аббата де Кондильяка написан превосходно, и я весьма опасаясь, чтобы, сравнивая мою критику с его рассуждением, вы не сказали, что все же предпочитаете заблуждение Монтеня истине Шаррона.

Вы опять-таки уклонились в сторону, скажете вы мне. Да, мадам, однако таковы условия нашей беседы. Но вот наконец мой ответ на два поставленных выше вопроса. Я думаю, что, когда глаза слепорожденного впервые откроются для света, он не увидит ровно ничего; что его глазу потребуется некоторое время, чтобы набраться опыта, но он наберется опыта у самого себя, без помощи осязания, и что он научится не только различать цвета, но и различать, хотя бы приблизительно, границы предметов. Теперь посмотрим, сумеет ли он—в предположении, что он приобрел эту способность в очень короткое время или же получил ее, упражняя свои глаза во мраке, куда его заключили бы, уговорив упражняться в этом в течение некоторого времени от операции и до опытов над ним,— посмотрим, спрашиваю я, сумеет ли он назвать их соответствующими именами. Это последний вопрос, который мне остается решить.

Желая покончить с этим вопросом так, чтобы угодить вам,— ведь вы любите методичность,— я буду различать несколько типов людей, над которыми можно производить опыты. Я думаю, что если мы будем иметь дело с грубыми, необразованными, невежественными, неподготовленными людьми, то после операции снятия катаракты, когда глаз станет здоровым, предметы будут отражаться в нем вполне отчетливо. Но так как эти люди совершенно не привыкли рассуждать; так как они не знают, что такое ощущение, идея; так как они не в состоянии сравнивать идей, полученных путем прикосновения, с идеями, полученными при посредстве глаз, то они будут говорить: “Вот круг, вот квадрат”, причем на их суждения нельзя будет полагаться, или же они откровенно признаются, что не замечают в видимых предметах ничего похожего на то, к чему они прикасались.

Есть другие люди, которые, сравнивая зрительные впечатления от тел с впечатлениями, полученными посредством осязания, и осязая в воображении эти находящиеся на расстоянии от них тела, скажут, что одно из них — квадрат, другое — круг, но не будут знать толком, почему они это говорят: ведь сравнение идей, полученных ими посредством осязания, с идеями, полученными посредством зрения, происходит у них не так отчетливо, чтобы они могли убедиться в истинности своего суждения.

Теперь, мадам, я перейду без всяких отступлений к метафизику, над которым стали бы проделывать этот опыт. Я несколько не сомневаюсь, что с той самой минуты, как он стал бы отчетливо различать предметы, он начал бы рассуждать о них так, словно видел их всю жизнь, и что, сравнив идеи, полученные им посредством зрения, с идеями, полученными посредством осязания, он сказал бы с такой же уверенностью, как вы и я: “Я весьма склонен думать, что вот это — тело, которое я всегда называл кругом, а вот то — тело, которое я всегда называл квадратом; но я не решусь утверждать, что это именно так. Откуда я знаю, что, если я приближусь к ним, они не исчезнут вдруг в моих руках? Откуда я знаю, что предметы моего зрения должны быть также предметами моего осязания? Я не знаю, осязаемо ли видимое мной. Но если бы я даже знал это и если бы я поверил на слово окружающим, что то, что я вижу, есть действительно то, к чему я прикасался, это не подвинуло бы меня далеко вперед. Ведь эти предметы могли бы претерпеть изменения в моих руках и через посредство осязания дать мне ощущения, совершенно противоположные тем, которые я испытывал благодаря зрению”. “Господа,— мог бы он прибавить,— вот это тело кажется мне квадратом, а вот то — кругом, но я совершенно не уверен в том, что они таковы же для осязания, как и для зрения”.

Если мы на место метафизика поставим геометра, на место Локка — Саундерсона, то, подобно первому, он скажет, что если верить своим глазам, то из двух видимых им фигур одна — та, которую он называл квадратом, а другая — та, которую он называл кругом. “Ибо я замечаю,— прибавил бы он,— что лишь в первой я могу натянуть нити и поместить булавки с большой головкой, которыми я отмечал угловые точки квадрата, и что лишь во второй или вокруг нее я могу поместить нити, которые мне были необходимы, чтобы доказать свойства окружности. Вот это — круг! Вот это — квадрат!” “Однако,— мог бы он продолжить вместе с Локком,— возможно, что если я приложу свои руки к этим фигурам, то они превратятся одна в другую, так что одна и та же фигура сможет служить мне для того, чтобы доказать слепым свойства круга, а зрячим — свойства квадрата. Возможно, я буду видеть квадрат и в то же время осязать круг”. “Нет,— поправил бы он себя,— я ошибаюсь. Те, кому я доказывал свойства круга и квадрата, не держали своих рук на моей счетной доске и не дотрагивались до нитей, ограничивающих мои фигуры; однако они меня понимали. Следовательно, они не видели квадрата там, где я осязал круг, ибо иначе мы никогда не столкнулись бы между собой; иначе я им нарисовал бы одну фигуру и доказал бы свойство другой; я выдал бы им прямую линию за дугу окружности, а дугу окружности — за прямую линию. Но так как они все понимали меня, то, значит, все люди видят одинаково и, значит, я вижу квадратным то, что они видели квадратным, и круглым то, что они видели круглым. Итак, вот что я всегда называл квадратом, и вот что я всегда называл кругом”.

Я заменил шар кругом и куб квадратом, потому что, по всей вероятности, мы судим о расстояниях лишь на основании опыта, и, следовательно, тот, кто пользуется своими глазами впервые, видит лишь поверхности и не имеет понятия о выпуклостях, ибо для зрения выпуклость заключается в том, что одни точки тела кажутся нам ближе, чем другие.

Но если бы даже слепорожденный мог с первого же момента своего прозрения судить о выпуклостях и объемности тел, если бы он был в состоянии отличать не только круг от квадрата, но и шар от куба, то я все же не думаю, чтобы он сумел разобраться таким же образом в любом другом, более сложном предмете. Слепорожденная г-на де Реомюра, по всей вероятности, различала цвета, но можно поставить тридцать против одного, что она говорила наугад названия шара и куба, и я убежден — если только не верить в чудо откровения,— что она не могла узнать свои перчатки, свое домашнее платье и свой башмак. У этих предметов столько особенностей, между их формой в целом и формой частей тела, которые они украшают или покрывают, так мало общего, что Саундерсону было бы в сто раз труднее определить назначение своего берета, чем гг. Д'Аламберу или Клеро найти назначение его таблиц.

Саундерсон не преминул бы предположить, что существует некоторое геометрическое отношение между вещами и их употреблением; поэтому на основании двух или трех

аналогий он заключил бы, что его ермолка сделана для его головы: здесь нет никаких произвольных форм, способных сбить его с толку. Но что бы он подумал об углах и о кисточке своего берета? К чему этот пучок? — спросил бы он себя. Почему у берета четыре угла, а не шесть? Обе эти детали, являющиеся для нас просто предметом украшения, послужили бы для него источником множества нелепых рассуждений или, вернее, поводом для прекрасной сатиры на то, что мы называем хорошим вкусом.

Хорошенько все взвесив, надо признать, что различие между человеком, который всегда видел, но не знает назначение какого-нибудь предмета, и человеком, который знает назначение предмета, но никогда его не видел, будет не в пользу последнего. Однако, как вы думаете, мадам, если бы вам сегодня впервые показали какое-нибудь украшение, догадались бы вы, что это убор, и притом головной убор? Но если прозревшему слепорожденному тем труднее правильно судить о предметах, чем больше в них деталей, то что помешало бы ему принять одетого и неподвижно сидящего перед ним в кресле наблюдателя за мебель или за какую-нибудь машину, а дерево, листья и ветви которого качаются от ветра, — за движущееся, одушевленное и мыслящее существо? Мадам, чего только не внушают нам наши чувства и как трудно было бы нам без помощи глаз заключить, что мраморная глыба не мыслит и не чувствует!

Итак, можно считать доказанным, что Саундерсон был бы уверен, что не ошибается только относительно своего суждения о круге и квадрате и что бывают случаи, когда рассуждение и опыт других людей могут помочь зрению разобраться в данных осязания и внушить ему, что предмет таков же для осязания, каков он для глаза.

Однако было бы очень важно, когда представляют доказательство какого-нибудь предложения, входящего в число так называемых вечных истин, проверить это доказательство, исключив свидетельства чувств, ибо вы отлично знаете, мадам, что если бы кто-нибудь захотел доказать вам, что проекцией двух параллельных прямых на доске будут две сходящиеся прямые на том основании, что такими же кажутся нам две аллеи, то, значит, он бы забыл, что предложение столь же истинно для слепого, как и для него самого.

Но наша гипотеза о слепорожденном наводит на мысль о двух других гипотезах: во-первых, о человеке, который видел бы со дня рождения, но был бы лишен чувства осязания, и, во-вторых, о человеке, у которого зрение и осязание вечно противоречили бы друг другу. Относительно первого можно было бы задать вопрос, узнал ли бы он тела при помощи осязания, если бы ему возвратили недостающее чувство и лишили его зрения при помощи повязки. Ясно, что, если бы он знал геометрию, она дала бы ему безошибочное средство проверить, противоречат ли друг другу показания двух чувств. Для этого ему достаточно было бы взять в руки куб или шар, доказать кому-нибудь его свойства и сказать — предполагая, что его понимают, — что другие видят куб там, где он осязает куб, и, следовательно, он держит в руках куб. Что касается человека, не знакомого с геометрией, то, я думаю, ему не легче было бы отличить при помощи осязания куб от шара, чем слепому г-на Молине различить их при помощи зрения.

Что же касается человека, у которого чувства зрения и осязания находились бы в постоянном противоречии друг с другом, я не знаю, что он стал бы думать о формах, порядке, симметрии, красоте, безобразии и так далее. По всей вероятности, он находился бы в таком же положении по отношению к этим вещам, в каком мы находимся по отношению к реальной протяженности и длительности существ. Он мог бы утверждать, что тело вообще имеет форму, но он должен был бы склоняться к мысли, что это не та форма, которую он видит, и не та, которую он осязает. Такой человек мог бы быть недоволен своими чувствами, но его чувства не были бы ни довольны, ни недовольны предметами. Если бы он захотел обвинить какое-нибудь из них в лживости, то, я думаю, он стал бы пенять на осязание. Сотня обстоятельств склоняла бы его к мысли, что фигура предметов изменяется скорее под действием его рук, чем в результате действия предметов на его глаза. Но из-за этого предубеждения ему очень трудно было бы понять смысл разницы между твердым и мягким, наблюдаемой им в телах.

Но из того, что наши чувства не противоречат друг другу в восприятии форм, следует ли, что эти последние нам лучше известны? Кто нам сказал, что мы не имеем дела с лжесвидетелями? И тем не менее мы судим. Увы, мадам, когда кладешь человеческие познания на весы Монтеня, приходится согласиться с его изречением. В самом деле, что мы знаем? Знаем ли мы, что такое материя? Нет. А что такое дух и мысль? И того меньше. А что такое движение, пространство, время? Ровно ничего не знаем. А геометрические истины? Расспросите добросовестных математиков, и они сознаются, что все их теоремы представляют тождества и что бесчисленное множество исследований о круге, например, сводится к повторению на сотни тысяч ладов того, что это фигура, в которой прямые, проведенные от центра к периметру, равны между собой. Таким образом, мы не знаем почти ничего. Но сколько написано сочинений, авторы которых утверждают, что они что-то знают! Я не понимаю, как это людям не наскучит читать, ровно ничему не научаясь, если только не предположить, что в основе этого лежит то самое соображение, в силу которого я имею честь уже целых два часа беседовать с вами, не скучая, но в то же время ничего не говоря вам.

Остаюсь с глубоким уважением, мадам, вашим покорнейшим и преданнейшим слугой.

ПРИБАВЛЕНИЕ К “ПИСЬМУ О СЛЕПЫХ”

Я собираюсь изложить без всякого порядка ряд феноменов, которые раньше не были мне известны. Они послужат подтверждением или опровержением некоторых пунктов моего “Письма о слепых”. Я написал его тридцать три или тридцать четыре года тому назад; я перечел его без предвзятости и не могу сказать, что остался им недоволен. Хотя первая часть его показалась мне более интересной, чем вторая, и хотя я подумал, что первую можно было бы немного расширить, а последнюю — значительно сократить, я оставлю и ту и другую в прежнем виде из опасения, что написанные молодым человеком страницы не станут лучше от поправок старика. Думаю, что я тщетно старался бы теперь сформулировать иначе то, что сносно в “Письме” в смысле идей и выражения их, и боюсь также оказаться неспособным улучшить то, что в нем неудачно. Один знаменитый художник, наш современник, тратит последние годы жизни на то, чтобы портить шедевры, созданные им в расцвете сил. Я не знаю, действительно ли в них есть те недостатки, которые он там замечает, но либо он никогда не обладал талантом, необходимым для их исправления, раз он дошел в подражании природе до последних границ искусства, либо, если и обладал этим талантом, потерял его, ибо все человеческое гибнет вместе с человеком. Приходит время, когда вкус дает советы, сознает их правильность, но не в силах следовать им.

Малодушие, порождаемое сознанием слабости, или лень, одно из следствий слабости и малодушия, отбивают у меня охоту заняться работой, которая может скорее ухудшить, чем улучшить мое произведение.

Феномены.

I. Один художник, основательно владеющий теорией своего искусства и не уступающий никому другому в умении применять ее на практике, уверял меня, что он судит о круглости сосновых шишек при помощи осязания, а не зрения. Он тихонько катает их между большим и указательным пальцами, различая благодаря последовательным ощущениям небольшие неровности, которые ускользнули бы от его глаз.

II. Мне рассказывали об одном слепом, который различал на ощупь цвета тканей.

III. Я мог бы привести в пример одного слепого, различавшего букеты с такой же тонкостью, какой хвалился Жан Жак Руссо, когда он всерьез или в шутку сообщил друзьям о своем намерении открыть школу, чтобы обучать парижских цветочниц.

IV. В городе Амьене один слепой мастер управлял многолюдной мастерской с таким умением, точно он вполне владел своими глазами.

V. У одного зрячего зрение мешало верности руки — чтобы побрить себе голову, он убирал зеркало и становился перед голой стеной. Так как слепой не видит опасности, он становится бесстрашным, и я нисколько не сомневаюсь, что слепой мог бы ступать твердым шагом по узким и гибким доскам, переброшенным в виде моста через пропасть. Мало людей,

у которых не темнело бы в глазах при взгляде вниз с большой высоты.

VI. Кто не знал знаменитого Давиэля или не слышал о нем? Я не раз присутствовал при его операциях. Он снял катаракту у одного кузнеца, получившего ее вследствие постоянного воздействия огня из горнила. За двадцать пять лет слепоты кузнец этот так привык полагаться на осязание, что можно было лишь насильно заставить его пользоваться возвращенным ему органом зрения. Давиэль восклицал, колотя его: “Будешь ли ты, наконец, смотреть, мучитель!..” Он ходил, он действовал с закрытыми глазами; он делал все то, что мы делаем с открытыми глазами.

Отсюда можно было бы заключить, что глаза вовсе не так необходимы для наших нужд и не так существенны для нашего счастья, как мы склонны думать. Есть ли на свете что-нибудь такое, к потере чего мы не стали бы равнодушными из-за долгого лишения, не сопровождающегося никаким страданием, раз зрелище природы больше не имело привлекательности для оперированного Давиэлем слепого? Может быть, созерцание дорогой нам женщины? Я этому нисколько не верю, какие бы выводы ни сделали из факта, о котором я собираюсь сейчас рассказать. Воображают, что если кто-нибудь провел долгое время без зрения, то с возвращением последнего он без усталости будет смотреть,— но это неверно. Какое огромное различие между кратковременной слепотой и слепотой привычной!

VII. Благодаря доброте Давиэля к нему стекались из всех провинций королевства бедные больные с мольбою о помощи. Его репутация собирала в его операционной многочисленную любознательную и просвещенную публику. Мне помнится, что однажды я присутствовал у него на операции вместе с г-ном Мармонтелем.

Больной сидел. Вот у него снята катаракта, и Давиэль положил свою руку на его глаза, которые он только что вновь открыл для света. Одна пожилая женщина, стоя рядом с больным, проявляла живейший интерес к успеху операции. При каждом движении хирурга она дрожала всеми членами. И вот хирург делает ей знак, чтобы она приблизилась, и ставит ее на колени против оперированного больного; он отнимает свои руки, больной раскрывает глаза, смотрит и восклицает: “Ах, это моя мать!..” Я никогда не слышал более патетического крика; мне кажется, что я все еще слышу его. Старая женщина упала в обморок, слезы полились из глаз присутствующих, и кошельки их щедро раскрылись.

VIII. Из всех лиц, лишенных зрения почти от рождения, самой удивительной была — и будет — мадемуазель Мелани де Салиньяк, родственница г-на де Лафарга, генерал-лейтенанта королевской армии, покрытого ранами и удостоенного почестями старца, недавно умершего в возрасте девяти лет. Она дочь г-жи де Бласи, живущей еще и ныне и не проводящей и дня без скорби о ребенке, который составлял уладу ее жизни и предмет восхищения всех ее знакомых. Г-жа де Бласи — женщина, выдающаяся своими моральными качествами; у нее можно удостовериться в правдивости моего рассказа. Я изложил под ее диктовку подробности жизни мадемуазель де Салиньяк, которые могли ускользнуть от меня самого в период близкого знакомства с ней и ее семьей, продолжавшийся с 1760 по 1763 год — год ее смерти.

Она была очень рассудительна, обладала очаровательным, мягким характером, редкой тонкостью мысли и наивностью. Однажды одна из ее теток пригласила ее мать прийти помочь ей, чтобы хорошо принять девятнадцать невежд, которые должны были у нее обедать. “Я совершенно не понимаю моей дорогой тети,— сказала племянница.— К чему угождать каким-то девятнадцати невеждам? Что касается меня, то я нахожу удовольствие лишь в общении с теми, кого я люблю”.

Звук голоса вызывал у нее то же самое очарование и то же самое отвращение, какое выражение лица вызывает у зрячих. Один из ее родственников, главный сборщик податей, вопреки ее ожиданию поступил нехорошо с ее семьей, и она с изумлением говорила: “Кто бы мог ожидать этого от такого приятного голоса?” Слушая пение, она различала голоса-брюнеты и голоса-блондины.

Когда с ней говорили, она судила о росте говорящего по направлению звука, который шел сверху вниз, если человек был высокого роста, и снизу вверх, если он был низкого роста.

Она вовсе не желала получить зрение. Когда я однажды спросил у нее о причине этого, она ответила: “Дело в том, что в этом случае я обладала бы только своими глазами, между тем как теперь я пользуюсь глазами всех. В силу своего недостатка я являюсь постоянным предметом интереса и сострадания окружающих; мне каждую минуту оказывают одолжения, и каждую минуту я благодарна кому-нибудь; увы, если бы я видела, то вскоре мною перестали бы интересоваться”.

Ошибки зрения уменьшали в ее глазах ценность этого чувства. Так, она говорила: “Я нахожусь у начала длинной аллеи; в конце ее есть какой-то предмет; один из вас видит, что он движется, другой — что он находится в покое; один из вас утверждает, что это животное, другой — что это человек; если же приблизиться к нему, окажется, что это пень. Никто не знает, кругла или квадратна башня, которая видна вдали. Я не боюсь вихря пыли, между тем как окружающие меня закрывают глаза и становятся несчастными, иногда на целый день, из-за того, что не закрыли их вовремя. Достаточно незаметного атома, чтобы доставить им жестокое мучение...” С приближением ночи она говорила, что наше царствование кончается и начинается ее царствование. Живя во мраке, она привыкла действовать и думать в течение вечной ночи и, разумеется, не страдала от столь докучающей нам бессонницы.

Она не могла простить мне того, что я написал, будто они, не видя симптомов страдания, должны быть жестокими. “И вы воображаете,— говорила она мне,— что вы слышите жалобы так, как я? Есть несчастные, которые умеют страдать не жалуясь”. “Мне кажется,— прибавила она,— что я угадала бы это и стала бы только больше жалеть их”.

Она страстно любила чтение и до безумия — музыку. “Я думаю,— говорила она,— что никогда не устану от прекрасного пения или хорошей игры на музыкальном инструменте, и, если бы на небе наслаждались лишь одним этим счастьем, я бы не отказалась быть там. Вы были правы, утверждая, что музыка — самое захватывающее из изящных искусств, не исключая поэзии и красноречия, что даже способ выражения Расина не отличался такой тонкостью, какая свойственна арфе, что мелодия его стиха была тяжелой и монотонной по сравнению с мелодией какого-нибудь музыкального инструмента и что вы часто желали придать своему стилю силу и легкость музыки Баха. Для меня это прекраснейший из всех известных мне языков. В разговорных языках, чем лучше произношение, тем больше расчленяют слоги; в музыкальном же языке все звуки, начиная от самых низких и кончая самыми высокими и наоборот, расположены в один ряд и незаметно следуют друг за другом. Это, так сказать, один долгий слог, изменяющийся каждое мгновение по модуляции и по выражению. В то время как мелодия доносит до моего уха этот слог, гармония без всякой путаницы исполняет на самых различных инструментах два, три, четыре или пять слогов, и все они усиливают выразительность первого слога. Что же касается толкования, которое дают голосовые партии, то без него я могу отлично обойтись, если композитор — талантливый человек и умеет придать выразительность своей мелодии.

Музыка особенно выразительна и восхитительна в ночной тиши.

Я убеждаюсь, что зрячие, внимание которых отвлекается зрением, не способны ни слушать, ни понимать музыки так, как я. Почему похвалы ей, которые я слышу, кажутся мне бледными и слабыми? Почему я никогда не могла высказать то, что чувствую при звуках музыки? Почему я останавливаю свою речь в поисках слов, которые выразили бы мои ощущения, и не нахожу их? Неужели такие слова еще не придуманы? Действие музыки я могу сравнить лишь с опьянением, которое я испытываю, когда после долгой разлуки бросаюсь в объятия своей матери,— я лишаюсь голоса, все члены мои дрожат, слезы текут, колени подкашиваются, и я себя чувствую так, словно вот-вот умру от радости”.

У нее было очень сильно развито чувство стыдливости, и, когда я спросил ее о причине этого, она ответила: “Это плод бесед с моей матерью: она так часто повторяла мне, что вид известных частей тела толкает на путь порока; если бы я осмелилась, я призналась бы вам, что лишь недавно поняла это и что, может быть, для этого необходимо было, чтобы я перестала быть невинной”.

Она умерла от внутренней опухоли в половых органах, рассказать о которой у нее не

хватило мужества.

В одежде, в белье, во всем она соблюдала тем более изысканную чистоту, что, не видя, она никогда не была вполне уверена, что сделала все необходимое, чтобы не вызвать у зрячих отвращения к проявлениям нечистоплотности.

Когда ей наливали что-нибудь для питья, то по звуку льющейся жидкости она узнавала, наполнен ли ее стакан. Она принимала пищу с удивительной осторожностью и ловкостью.

Иногда она в шутку становилась перед зеркалом, прихорашиваясь, подражая всем манерам готовящейся в бой кокетки, и ее ужимки были так правдоподобны, что нельзя было удержаться от смеха.

С самой ранней юности родные старались развить имеющиеся у нее чувства и в этом добились невероятных успехов. Благодаря осязанию она узнавала такие детали о формах тел, которые часто неизвестны самым зорким людям.

У нее были удивительно тонкий слух и обоняние. По впечатлению от воздуха она судила о состоянии атмосферы, о том, облачная или ясная погода, находится ли она на площади или улице, на улице или в тупике, в открытом или закрытом месте, в просторном помещении или в маленькой комнате.

Она определяла размеры какого-нибудь ограниченного пространства по звуку своих шагов или по отзвуку своего голоса. Стоило ей пройти внутри какого-нибудь дома, и топография его оставалась у нее в голове, так что она предупреждала других о маленьких неприятностях, которым они рисковали подвергнуться. “Берегитесь,— говорила она,— здесь слишком низкая дверь, а там ступенька”.

Она находила в голосах не замечаемое нами разнообразие, и когда слышала какого-нибудь человека, то навсегда запоминала его голос.

Она была не слишком чувствительна к прелестям молодости, ее мало смущали морщины старости. Она говорила, что для нее опасны только сердечные и умственные качества. Это еще одно из преимуществ отсутствия зрения, особенно для женщин. “Никогда,— говорила она,— красивый мужчина не вскружит мне голову”.

Она была доверчива. Обмануть ее было так легко и так стыдно было бы ее обманывать! Непростительным вероломством было бы затаиться, чтобы она думала, будто находится одна в комнате.

Она никогда не испытывала панического страха, редко скучала; одиночество научило ее довольствоваться самой собой. Она заметила, что в дороге, в дилижансах, люди к вечеру становятся молчаливыми. “Что касается меня,— говорила она,— мне не нужно видеть тех, с кем мне приятно беседовать”.

Из всех положительных качеств она особенно ценила здравый смысл, мягкость и веселость характера.

Она мало говорила и много слушала. “Я похожа на птиц,— говорила она,— я учусь петь во мраке”.

Сопоставляя услышанное ею в разное время, она возмущалась противоречивостью наших суждений. Ей казалось почти безразличным, слышать ли похвалу или порицание от столь непоследовательных существ.

Ее научили читать при помощи вырезных букв. У нее был приятный голос, она со вкусом пела; она охотно провела бы свою жизнь в концертном зале или в опере. Ей была неприятна только шумная музыка. Она восхитительно танцевала, отлично играла на альт-виоле, и благодаря этому таланту ее общества искали молодые люди ее возраста, чтобы научиться модным танцам и кадрилям.

Она была любимицей своих братьев и сестер. “Вот чем еще,— говорила она,— я обязана своей немощи: ко мне привязываются благодаря оказываемым мне услугам и благодаря усилиям, которые я делаю, чтобы отблагодарить за них и заслужить их. Прибавьте к этому, что мои братья и сестры этому совершенно не завидуют. Если бы я обладала зрением, это было бы в ущерб моему уму и сердцу. У меня столько оснований быть доброй! Чем бы я стала, если бы перестала внушать интерес к себе?”

Когда ее родные разорились, она жалела только о том, что должна была лишиться учителей; но они были так привязаны к ней и так уважали ее, что настойчиво упрасивали ее согласиться принимать даром уроки геометрии и музыки. И она говорила матери: “Мама, как поступить? Они ведь небогаты и не могут терять время”.

Ее научили музыке при помощи выпуклых знаков, размещенных на линейках, возвышающихся на поверхности большого стола. Она читала эти знаки рукою; она играла их на своем инструменте и в короткий срок частично выучивала самую длинную и самую сложную музыкальную пьесу.

Она знала начатки астрономии, алгебры и геометрии. Ее мать, читавшая ей книгу аббата де Лакайля, спрашивала у нее иногда, понимает ли она прочитанное. “Прекрасно”,— отвечала она.

Она уверяла, что геометрия — подлинная наука слепых, потому что она требует большого внимания и потому что нет нужды в посторонней помощи, чтобы совершенствоваться в ней. “Геометр,— прибавляла она,— проводит почти всю свою жизнь с закрытыми глазами”.

Я видел карты, по которым она изучала географию. Параллели и меридианы изображались проволоками из латуни; границы государств и областей были отмечены бумажными, шелковыми и шерстяными нитями разной толщины; реки, ручьи и горы — большими или меньшими булавочными головками, а более или менее крупные города — каплями воска неравной величины.

Я сказал ей однажды: “Мадемуазель, вообразите куб”. — “Я вижу его”. — “Вообразите в центре куба точку”. — “Готово”. — “Проведите из этой точки прямые к углам куба; сделав это, вы разделите куб”. — “На шесть равных пирамид,— прибавила она сама,— имеющих равные грани, основаниями для них служат грани куба, а высота их составляет половину его высоты”. — “Это верно, но где вы это видите?” — “В собственной голове, как и вы”.

Сознаюсь, что я никогда не мог понять толком, как она в голове представляла себе фигуры, не окрашивая их. Создавался ли у нее этот куб из воспоминаний об ощущениях осязания? Стал ли ее мозг своего рода рукой, как бы созидающей предметы? Установилось ли в конце концов какое-либо соответствие между двумя различными чувствами? Почему нет этой связи у меня и почему я ничего не вижу в голове, если не окрашиваю того, что воображаю? Что такое воображение слепого? Явление это не так легко объяснить, как думают.

Она писала при помощи булавки, которой протыкала лист бумаги, натянутый на раму с двумя подвижными параллельными пластинками, оставляющими между собой промежутки для одной строки. Она пользовалась тем же способом для ответных писем, которые она читала, водя кончиком пальца по небольшим неровностям, образованным булавкой или иголкой на оборотной стороне бумаги.

Она читала книгу, в которой текст был напечатан только на одной стороне листа. Про напечатал для нее такую книгу.

В тогдашнем “Меркурии” поместили одно ее письмо.

У нее хватило терпения переписать при помощи иголки “Исторический очерк” президента Эно, и я получил от г-жи де Бласи, ее матери, эту необычную рукопись.

Вот факт, которому поверят с трудом, несмотря на свидетельство всей ее семьи, мое собственное и свидетельство двадцати ныне еще живущих лиц. Если ей говорили из стихотворения в двенадцать — пятнадцать стихов первую букву и количество букв, из которых было составлено каждое слово, то она угадывала заданное ей стихотворение, каким бы оно ни было причудливым. Я испытывал ее бессмыслицами Колле. Иногда ей приходили в голову выражения более удачные, чем у самого поэта.

Она очень быстро вдевала нитку в самую тонкую иголку; для этого она помещала нитку или шелковинку на указательный палец левой руки и затем вдевала ее тонким кончиком в ушко иголки, расположенное перпендикулярно.

Не было рукоделия, которым бы она не занималась. Она делала обшитые края, цельные или ажурные кошельки разных рисунков, разных цветов, подвязки, браслеты, ожерелья из

стекляруса, мелкого, как типографский шрифт. Я не сомневаюсь, что она была бы отличным наборщиком,— кто способен на большее, тот способен и на меньшее.

Она превосходно играла в реверси, медиатор и кадриль. Она сама располагала свои карты, различая их при помощи мелких царапин, которые она узнавала на ощупь и которых другие не могли распознать ни на глаз, ни на ощупь. При игре в реверси она выменивала тузов, особенно туза бубен, и валета червей. Единственным одолжением, которое ей делали, было то, что при каждом ходе называли карту. Если случалось, что была угроза для валета червей, то на ее устах появлялась легкая улыбка, которую она не могла сдержать, хотя и знала, что это выдает игру.

Она была фаталисткой: она думала, что все наши усилия уйти от своей судьбы только приводят нас к ней.

Каковы были ее религиозные убеждения? Она держала это в тайне из уважения к своей набожной матери.

Мне остается только изложить вам ее соображения относительно письма, рисунка, граверного искусства, живописи. Не думаю, что в этих вопросах можно быть ближе к истине, чем была она; во всяком случае, таков мой вывод из нижеследующего разговора с ней. Первой заговорила она.

— Если бы вы при помощи стилета изобразили на моей руке нос, рот, мужчину, женщину, дерево, то, наверное, я узнала бы их; надеюсь, что, если бы рисунок был точным, я узнала бы даже, кого вы нарисовали; моя рука стала бы для меня чувствительным зеркалом; но разница в чувствительности между тканью руки и органом зрения велика.

Таким образом, я полагаю, что глаз — это какая-то живая ткань, обладающая бесконечно тонкой чувствительностью; воздух достигает предмета и отражается от него к глазу; таким образом глаз получает бесконечное множество впечатлений, зависящих от природы, формы, цвета предмета, а может быть, и свойств воздуха, не известных ни мне, ни вам; разнообразие этих ощущений и дает вам изображение предмета.

Если бы кожа моей руки была столь же чувствительна, как ваши глаза, я видела бы своей рукой так, как вы видите глазами, и мне иногда кажется, что бывают животные слепые и вместе с тем проницательные.

— А что вы скажете о зеркале?

— Если не все тела могут служить зеркалами, то по причине какого-нибудь недостатка своего строения, мешающего отражению воздуха. Я тем более стою за эту мысль, что отшлифованное золото, серебро, железо, медь оказываются способными отражать воздух, а мутная вода и исцарапанное стекло теряют это свойство.

Текст отличается от рисунка, рисунок — от эстампа, эстамп — от картины разнообразием ощущений, а следовательно, и различной способностью отражать воздух, присущей тем веществам, которые вы при этом используете.

Текст, рисунок, эстамп, одноцветная картина — это как бы разного рода одноцветные изображения.

— Но если имеется только один цвет, то нужно было бы различать (оттенки) этого цвета.

— Очевидно, фон полотна, толщина слоя краски и способ ее употребления вносят в отражение воздуха какие-то отличия, соответствующие различию форм. Впрочем, больше не спрашивайте у меня ничего, я только это и знаю.

— Тщетно было бы пытаться научить вас большему. Я не рассказывал вам об этой молодой слепой всего, что я мог бы наблюдать, если бы навещал ее чаще и расспрашивал с надлежащим умением. Но даю вам честное слово, что все написанное мною основывается исключительно на личном наблюдении.

Она умерла двадцати двух лет от роду. При своей колоссальной памяти и при огромном уме какую блестящую научную карьеру она сделала бы, если бы ей суждена была более долгая жизнь! Мать читала ей исторические книги, и это было занятием одинаково полезным и приятным для обеих.
